**Тексты рассказов для участников в номинации**

**«Размышления над прочитанным»**

**Безумец**[**[1]**](http://profilib.com/chtenie/136657/nikolay-zlatovratskiy-bezumets.php#n1) ***Былина***

**I**

 Он шел изнеможенный и усталый, покрытый пылью. Путь его был долог, суров и утомителен. Впереди и позади его лежала желтая, высохшая, как камень, степь. Солнце палило ее горячими лучами, жгучий ветер, не освежая, носился и рвался по ней, перегоняя тучи сухого песку и пыли. Кое-где бродили только серые стада овец да табуны кобыл. Селения попадались редко, да и те были жалки и убоги. Он ненадолго останавливался в них и снова торопился вперед. Он чувствовал, что изнемогает. Но то, что оставалось ему пройти и вынести теперь, было бесконечно мало в сравнении с тем, что было им пройдено и испытано позади. Это придавало ему бодрости и силы. А когда он прижимал руку к груди и чувствовал, что драгоценный клад, найденный им, лежит около его сердца, ему становилось так легко, отрадно, как будто ноги его не чувствовали усталости, голова - истомы, и ему казалось, что его несли невидимые крылья.

Он еще более ускорял шаги и говорил себе: "Скорее! скорее! пора! дойду ли я? Я чувствую, что мои силы иссякают с каждым шагом… Увы! - их едва хватило, чтобы совершить только то, что я успел. Кого я застану там, дома? Каковы они теперь, мои братья, сестры и дети? Ждут ли они меня или же давно похоронили и сочли погибшим навеки мечтателя-безумца? Или, может быть, они отвернутся от меня, отрекутся и, устыдясь своего отца и брата, скажут: "Мы не знаем тебя и не хотим слушать твой безумный бред!""

При этой мысли он вдруг побледнел, приостановился и медленно провел рукой по горячему лбу.

- Бред! - повторил он. - И это - бред?!

Он снова приложил руку к сердцу и, просияв младенческою радостью, быстро двинулся вперед.

К концу пути как будто еще жесточе палило солнце; как будто еще злее крутилась вкруг него горячая пыль; как будто вся степь, окутанная распаленною дымкой, дышала зноем и истомой; он шел все быстрее и быстрее. Лицо его уже давно обгорело и стало медно-красным, руки были покрыты истрескавшимися сухими мозолями, на босых ногах виднелись язвы, посконная рубаха взмокла от пота, сквозь слой пыли, покрывавшей его бороду, проступала седина.

**II**

 На этот путь он вышел рано, когда еще только занималась заря его жизни, когда горячая кровь еще ключом билась в его жилах, когда он только что испытал первые ласки взаимной любви, когда все сулило ему впереди покой, довольство, досуг и блага земных счастливцев, - вот еще когда безумная мысль забралась в его душу и стала терзать его бедную голову.

Вначале никто не замечал приступов его безумия, но когда он робко заявил сомнение в правоте и прочности сулимого ему благополучия, его стали подозревать…

Он ушел не один: их было много вместе с ним, таких же безумцев. Что они были безумцы, - для всех скоро стало ясно и бесспорно. Когда они уходили, они дали друг другу клятву: "Мы не вернемся к своим, пока не испытаем и не перенесем на себе все язвы страждущих и угнетенных, не сносим на себе всей проказы, разъедающей их, не причастимся их скорбей и радостей, не переживем их печалей и упований…" Они ушли. Это был путь долгий, крестный и тернистый: они шли по городам, спускались в вертепы нищеты и разврата, били камни на мостовых и выгребали нечистоты, страдали и валялись, как прокаженные, вместе с другими по приютам и больницам, они входили на фабрики и стояли за станками до ломоты в костях, до отупения головы, до онемения членов; они спали на нарах, переполненных паразитами, среди жен, не знавших мужей, и среди матерей и отцов, не узнававших детей, они рыдали с запроданными в рабство младенцами, закабаленными стариками. Они шли в деревни - и корчевали пни, бороздили тяжелым плугом под палящим зноем каменистую почву; становились к пылающим горнам кузниц. Они шли на широкие реки с толпами голодных рабочих и тянули бурлацкую лямку; они спускались в темные подземные шахты и, под страхом смерти, как черви ползали по норам; они голодали с переселенцами, мокли по пояс в грязных ямах с землекопами; терпели от штрафов, обмана и безработицы; ложились под розги; сидели по казематам и острогам… Таково было это безумие.

**III**

 Ему оставалось немного до конца пути, всего два-три ночлега. Он присел отдохнуть у верстового столба, и когда взглянул на свои ноги, грудь и руки, когда почувствовал, что все члены его онемели и застонали кости, - ему вдруг вспомнился весь его добровольный крестный путь, и ему стало страшно. Он невольно оглянулся кругом себя: он был один, совсем один в беспредельной, пылающей зноем степи. Немного осталось их из этой кучки безумцев: одни давно изменили и продали себя, другие не вынесли, "устали вперед идти" и вернулись, третьи… третьи погибли, как безвестные пловцы в безбрежном и глубоком море. Ему стало тяжело, горько и больно; казалось, он только теперь ощутил всю бесконечную тяжесть поднятого креста; казалось, он только теперь понял всю глубину своего безумия… "Зачем? Зачем было все это? И кому будет от этого легче, кому прибавится хотя на ноготь счастия, силы, энергии, славы?.. Безумие! Безумие!" - готов был он крикнуть в отчаянии, как почувствовал, что его сердце радостно забилось и тихая врачующая теплота разлилась по всему телу: он не слыхал уже ни стона костей, ни боли язв. Он схватился за грудь, почувствовал драгоценный клад, лежавший около сердца, и отчаяние сменилось трепетной боязнью: "Скорее, скорее! Только бы донести… Бог весть, будут ли из нас еще такие безумцы, как мы!.. А если… если опять и опять *там* не поверят в слепом самодовольстве? Если мои слезы и восторги опять и опять обзовут безумием даже родные дети?! О, тогда… тогда я уйду назад!" И глаза его, действительно, заблистали безумным огнем.

**IV**

 "Скорее, скорее!" - твердил он и шел вперед. На четвертые сутки он вошел в родной город. Робость овладела им среди шумной и многолюдной улицы. Многие останавливались в изумлении и смеялись над его лохмотьями. Одни говорили с жалостью и состраданием: "Он еще все бредит, несчастный!" Другие восклицали, в недоумении и испуге: "Он еще жив, безумец!" И среди тех и других он приметил некоторых из своих друзей и близких, которые не желали признать его. Третьи указывали на его грудь и кричали, самодовольные и упитанные: "Он думает, что несет настоящие перлы! Не верьте ему… Он лжец и смутитель. Вот у нас настоящие перлы, потому что мы сами оттуда, откуда пришел он!" И они шумно и нагло продавали поддельные перлы, вынося их на уличный рынок. То были народные иуды.

Его охватил ужас. Но он скоро расслышал, что многие, видя кровь, сочившуюся из его ран, робко и оглядываясь, уже стали шептать друг другу: "Нет, он искренен… Его перлы не могут быть поддельны…"

 Тогда в душе его мелькнула искра надежды.

 Смущенный и робкий, переступил он через родной порог.

 И когда он увидал своих близких, изможденных от труда и забот, грустных от труда и забот, грустных от пережитых потерь и измен, изнуренных от духовной жажды и неудовлетворенности, и когда двое - юноша и девушка, его дети - бросились к нему, целуя прах его ног, он, безумец старый, упал и обессилевшею рукой едва успел передать с груди своей драгоценный клад.

- Это - перлы, которые достал я с глубины народного моря… В них залог его и вашего воскресения и спасения.

 И когда увидал он, как благоговейно приняли они эти перлы на свои груди, он радостно улыбнулся им и едва слышно прошептал:

- Я чувствую - мой конец близок… Мои силы иссякли… Взлелейте же вы эти перлы в своей душе… Освятите их творчеством мысли и теплотою сердца… Когда же вы будете достойны, чтобы возвратить их народу в блеске и сиянии торжества и славы, скажите тогда: *твоя от твоих тебе приношу*…

 После того мечтатель-безумец тихо скончался.

***Примечания***

***1***

Впервые - в газете "Русские ведомости". 1886. № 273, под заглавием "Безумец (Былина)". Включался во все собрания сочинений Н. Н. Златовратского.

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912. Т. 6.

[www.profilib.com](http://www.profilib.com)

 **Аннушка**

***\*\*\****

 Аннушка! Как передать мне вам этот дивный в своей простоте образ, который давно уже заполонил наши юные сердца, который не раз после, в тяжкие минуты духовного изнеможения и надорванной энергии, вдруг яркой звездочкой выплывал пред нами из-за сумрака серых туч и о чем-то говорил нам с высоты небесной и как будто манил к себе, в надзвездную высь, своим мягким, ровным блеском?..

Мы мало ее знали: это была тоже одна из блуждающих теней, которые раз-другой проносились мимо нас, как видения, и исчезали, казалось, бесследно; но это так казалось нам, пока легкомысленный угар молодой жизни еще туманил наши духовные очи и мы с детской надменностью полагали, что между нами и прошлым нет уже никакой связи, что все благодатное, что было в нас, родилось вместе с нами и из самих нас…

 Я расскажу лучше всего, что мы знали об Аннушке.

Однажды, когда "наш ополченец" гостил, по обыкновению, у нас, в нашем старом провинциальном трехоконном домике, сокращая скучные зимние вечера своего одинокого деревенского существования, он, сидя на диване и покуривая "Жуков" из длинного чубука, после довольно продолжительного молчания вдруг сказал, обращаясь к матушке:

- А знаете ли, ведь в молодости я чуть было не женился на своей крепостной девушке?..

Он таинственно улыбнулся и усиленно стал сопеть трубкой.

- Да, - продолжал он, - и наверно бы женился и сделал бы свою крепостную девку барыней, если бы судьба так же охотно исполняла все глупости, которые нам взбредут в голову, как мы сами.

 Мы были еще так юны, что подобное сообщение нашего ополченца, имевшее для него, по-видимому, большое значение и которое он не без труда решился сделать, не особенно нас заинтересовало бы, если бы он не начал дальше рассказывать о какой-то черноглазой девочке, смуглой, как цыганенок, которую его мать взяла к себе "в горницы" из дальней деревни и которую все у них прозвали "галчонком". Это обстоятельство заставило меня и сестренку бросить вырезывание транспарантов и внимательно выслушать весь рассказ ополченца, хотя мы понимали в нем далеко не все.

- Н-да, удивительная вещь, - говорил задумчиво наш ополченец, прерывая свою речь долгими попыхиваниями в чубук, - не то удивительно, что я хотел жениться… Это глупости, вздор!.. А то, что вот она… этот "галчонок"… засела где-то там… в подоплеке… в глубине юнкерско-дворянской подоплеки… и свербит там… Да, по временам…

 И ополченец опять начал сопеть в чубук и при этом долго и внимательно, с таинственной улыбкой, смотрел на мою сестренку.

- Вот, - сказал он, указывая на нее чубуком, - вот, помню, такая же была… Мне было лет четырнадцать, а я все еще жил дома, был сорванец-мальчишка и балбес. Один был у маменьки; была раньше сестренка, да умерла лет десяти; мать долго и очень об ней тосковала. Помню, однажды, когда матушка вернулась из поездки в одну из наших деревенек на юге, я заметил в людской нового человека, маленького, худенького, черномазенького, с черными глазами, запрятавшегося в угол за печкой… "Вот нашли еще сокровище! - сказала наша ключница. - Настоящий галчонок, и зовут-то, слышь, Галькой… Полюбуйтесь! Хохлушка, слышь, а может, арапка"… Галчонок!.. И мне и всем в людской это очень понравилось… С тех пор галчонок стал галчонком и на другой же день принялся было, грязный и босой, как и все другие дворовые галчата, прыгать на заднем дворе, как вдруг матушка вспомнила о галчонке, приказала вымыть, причесать, одеть Гальку и представить к ней "в горницы"… Священнику, который ходил к нам давать мне уроки, приказано было учить Гальку грамоте… Матушка стала ее держать при себе целые дни, занималась с ней сама, учила ее вышивать и даже баловала лакомствами… Иногда она, смотря на нее, тихо плакала… Но так продолжалось недолго; матушка вдруг ее забывала… Глядишь, а уж галчонок снова толкается в людской, на кухне, бегает на посылках у ключницы, перетирает тарелки, ходит в рваном затрапезном платьишке, нечесаный и немытый; опять урывками играет с дворовыми ребятишками на заднем дворе… А там опять - смирно и робко галчонок по целым дням сидит в комнате матушки, четко выговаривая тоненьким голосом склады, сложив под столом ручонки, и только бойко прыгают по буквам его черные глаза… Ну, да… все это, как видите, в порядке вещей… Гм!.. - вдруг почему-то заволновался наш ополченец, и, поставив в угол трубку, он протянул руки к моей сестренке и тихонько привлек ее к себе. - Да, вот и галчонок был такой же тогда!.. Я хорошо помню… Вот и глаза, - говорил он, как-то особенно любовно смотря в лицо сестры. - Ну, после я его забыл… Меня увезли в Москву… Вообще… из старого ничего не осталось… Новые интересы, новая жизнь… Все было забыто… Да… все… А потом… потом, знаете, как это бывает: вдруг все сразу неожиданно и хлынет.

 Ополченец помолчал, забился в самый угол дивана и, как мне показалось, весь съежился, смутился, перестал смотреть на нас, робко опустил глаза и вообще совсем не стал походить на бравого ополченца.

- Да, все было забыто, - повторил он. - Ну, сначала корпус… Был и в лицее… и за границу ездил… Прошло, вероятно, лет десять… Наезжал и в деревню, но все это так, мимоходом… Другие интересы, другая жизнь… А это все… старое, что тут осталось, так мелькало только… мимо… Одно мелькание было… Вот однажды получаю письмо от матушки, что очень больна… Приехал… Кругом, конечно, заботы… Врач дежурит… Дворня ходит на цыпочках… Проходит день за днем… Матушка моя будто стала поправляться… Вхожу к ней как-то вечером… Около нее сидит девушка с Евангелием в руках и читает… Девушка показалась мне очень скромной, с маленьким, смуглым, худощавым лицом… Да и вся она была не столько худая, сколько именно маленькая: и нос у нее, с горбинкой, тоже был маленький, и руки маленькие, только глаза были большие, как крупные вишни, да толстая черная коса… И я вдруг вспомнил "галчонка"…

 Я стал всматриваться в нее, чтобы припомнить хорошенько сходство, но тут почему-то мне пришла в голову мысль, что она, вероятно, вот уже замужем за кем-нибудь из лакеев или кучеров… И мне стало неинтересно… Ну да, потому что все это так… в порядке вещей…

 Ну, матушка, однако, не поправилась: через неделю она умерла… Надо было привести дела в порядок… Впрочем, все это должен был приготовить мой дворецкий… А я больше, грустный и меланхолический, ходил по саду, по берегу реки и думал, что это и есть самое хорошее дело. Забрел я как-то однажды в самый глухой угол сада, уже в сумерки, и слышу, что кто-то очень близко от меня тихонько всхлипывает. Гляжу, прямо предо мной на скамье сидит девушка, закрыв лицо фартуком.

- О чем ты плачешь? - спросил я, но еще не узнал, кто эта девушка.

Она вздрогнула, опустила фартук, быстро поднялась и стала смотреть мне боязливо в лицо: я заметил, как блестели от слез ее черные глаза…

- Ты - Аннушка, да?.. О чем ты плакала? - спрашивал я. - Можешь ты мне сказать искренно?..

- Мне… тоска… бывает… Мне хочется тоже… умереть, - прошептала она так тихо, что я едва расслышал ее голос.

Я никогда еще не слыхал таких слов… от дворни. Да, в романах читал, но там - другие люди… свои…

- Сядь, - сказал я, - сядь, бога ради… Она присела на самый краешек скамьи.

- Отчего ж ты тоскуешь?.. Может быть, нехорошо живет с тобой муж…

- Я - девушка…

Это меня несколько изумило, но вместе с тем мне было почему-то приятно.

- Отчего ж до сих пор не вышла замуж? Никто не любил?..

- Я была при вашей мамаше… все время… Она меня любила… очень любила и никуда не отпускала… А у меня часто бывает так… тоска… Еще когда я моложе была, ко мне по ночам все приходили то дедушка, то бабушка… И все корили за что-то… Я все плакала… Я просилась у мамаши отпустить меня к своим… А они говорят: "Ни за что!.. Лучше убей меня! Вот умру - ступай…" Мне их жалко было… Они меня всему научили… Я им книжки читала… Все книжки, какие у нас в шкапу были, все почти перечитала… А некоторые и не один раз… А только на вашу мамашу тоже другой раз находило… и она не любила тогда меня… прогоняла от себя… А на меня тогда еще пуще тоска… Собиралась убежать, уйти - да не смогла… Простите меня… Это во мне, говорят, кровь говорила… Родная кровь.

 И она опять заплакала.

 Я старался успокоить ее, но в то же время я не хотел ее и смущать еще больше и ушел. Я проходил всю ночь до рассвета по мокрому лугу… Что-то во мне тогда вдруг заговорило, поднялось, смутное, неопределенное, что-то воскресло старое, все это забытое… "Все лучшие годы, всю молодость… не отпускала!.. Собиралась бежать - и не смогла, жалко было"… Все эти отрывочные слова девушки тысячу раз вертелись в моей голове, и она стояла предо мною, как живая: такая маленькая, худенькая, а в глазах ее было столько тоски и слез…

Мне казалось, что после бессонной ночи я пришел к какому-то важному решению - и заснул. На другой день я позвал к себе старого дворецкого и, как бы мимоходом, расспросил об Аннушке. Вся дворня смотрела на нее, как на странную девушку, немножко будто "попорченную"… "Барыня-покойница очень привечала ее при себе - точно, - говорил дворецкий. - Иной раз, слышно, так говорили: кабы ты, слышь, моя дочь была… Да нет, говорят, нет… Уйди, говорят, уйди прочь от меня! И прогонят. А то от себя не отпущают: всему ее обучили и книжки все себе заставляли читать… Ну, а она другой раз выбежит к девкам (известно, молодость!.. тоже в охотку), побегает с ними в горелки, песен попоет… А там, глядишь, найдет на нее - где-нибудь в уголке по ночам плачет и все богу молится…"

К изумлению своего дворецкого, я вдруг объявил ему, что на этот год я останусь с ними, а может быть, и навсегда.

- Я забыл вас совсем!.. Да, совсем забыл! - прибавил я, чувствуя, что голос у меня дрожит. Но мой добрый старик дворецкий, по-видимому, не оценил этого и, не осмеливаясь высказать свое недоумение, проговорил, почесав за ухом: "Слуша-ем-с!.."

Да, я решил "вспомнить их всех"… Я справлялся у ключницы об Аннушке, что она, не тоскует ли… Ключница подозрительно взглянула на меня и сказала: "Что ей, сударь, делать: известно, о барыне-покойнице тоскует…" Я все думал, что бы мне для нее сделать, и ничего не мог придумать… Я позвал ее и сказал, чтобы она мне что-нибудь прочитала… так же, как матушке. Я дал ей новую, только что появившуюся тогда замечательную повесть, которую привез с собой. Она скромно села за стол и стала читать. Лицо ее было серьезно; худые, смуглые, с пробивающимся румянцем щеки, опущенные ресницы, певучий тонкий голос напоминали мне тех молодых клирошанок[[1]](http://profilib.com/chtenie/136665/nikolay-zlatovratskiy-annushka-4.php#n1), которых я любил так смотреть и слушать в московских монастырях… Она читала и, по-видимому, начала все больше увлекаться сама чтением. Она читала долго, не смотря на меня. Я не мешал ей. Я смотрел на нее и не мог отвести глаз. Потом как-то она подняла на меня свои темные глаза и покраснела. Я чувствовал, что сам покраснел и смутился… Вечером я опять просил ее читать. Она принялась охотно, и мы кончили повесть. Но она все время не подняла на меня глаз. Так продолжалось день, и другой, и третий… Я просил ее читать мне, как матери. Она не отказывалась и аккуратно исполняла свой "урок". Да и могла ли она подумать отказаться, она, крепостная девушка? Но я не думал об этом. Мне было приятно слышать ее нежный, молодой голос, следить за переливами стыдливой крови на ее смуглых щеках и ловить робкий взгляд ее темных глаз, которые она изредка подымала от книги. И я думал: "Как мне хорошо здесь при ней… Я останусь здесь… Что же: мне стоит только протянуть ей руку - и я спасу ее сразу, искуплю грех моей матери против нее…" Я чувствовал, что становился великодушен и нежен.

Одним утром, когда я только встал, вдруг отворилась тихо дверь и на пороге робко остановилась Аннушка. Она не смотрела на меня, но я чувствовал, что в глазах ее стояли слезы… А мне почему-то было приятно, что она сама вошла ко мне.

- Что, Аннушка? - спросил я.

- Я к вам, - стала она говорить так тихо, что едва можно было ее расслышать. - Я пришла… просить вас, Петр Григорьич… Отпустите меня… на волю… Прошу, ради господа… Я и барыню просила… Да не пустила, говорит, умру - тогда… Пустите… Я ведь не для себя… в монастырь уйду… Только на родину схожу… Ежели не верите, я клятвенно перед образом побожусь… Ежели я обману, что для себя это я, по этапу тогда меня вытребуете… Да ведь я и не нужна вам, Петр Григорьич… Для мамаши была нужна… А для вас я к чему годна?.. Петр Григорьич, бог вам воздаст за меня сторицею, потому что не для себя я… Я вот только на родину схожу… Отпустите, - тихо прошептала она, - ради мамаши, ради памяти…

Я, понятно, был изумлен и смущен.

- Что с тобой, Аннушка?.. Зачем это ты… хочешь похоронить себя в таких молодых годах? - заговорил я. - Ведь ты уж и так… ведь мать моя тебя и без того держала, как в монастыре… Она молодость твою загубила… Нет, нет!.. Это ты хочешь меня наказать… Ты хочешь, чтобы я тебя вконец загубил… Проси, что хочешь… другое… я готов… Вот я останусь здесь… Я постараюсь устроить твою жизнь… Выпишу сюда твоих стариков… Может быть, ты полюбишь… кого-нибудь… Будешь счастлива…

И вдруг Аннушка покачнулась, как былинка от ветра, и упала мне в ноги.

- Петр Григорьич, не погубите, - шептала она глухо, сквозь слезы. - Отпустите… Тоска мне… Ради памяти маменьки… Я не для баловства… Клятвенно говорю вам… Ежели что - по этапу…

- Хорошо, хорошо, - быстро сказал я, испугавшись, что она будет продолжать какие-то страшные слова.

Она вышла. А я почувствовал, как у меня заныло сердце… да и так и засело вот что-то с тех пор в дворянской подоплеке… И свербит…

Ополченец замолчал и взялся за трубку. Матушка, как мы заметили, была взволнована, но долго молчала, прежде чем спросила его:

- И она ушла? И вы с тех пор не видали ее больше?

- Нет, не видал… Но справлялся, расспрашивал… Говорили, что с нее взять? Известно, чудная была - такой и осталась. Слышно, живет, что птица, что божия птаха. Летает с места на место: то там объявится, то здесь. Где облюбует местечко в деревне, совьет гнездышко - поживет, а там опять вспорхнула и полетела… Вообще я заметил, что когда рассказывали о ней наши дворовые, то старались теперь говорить как-то нежнее, любовнее… Рассказывали, что она часто ходит по городам, по богатым, собирает деньги на что-то. На что - наши не знали, но были уверены, "что деньги эти ни к чему ей, как на божье дело… Потому что старики у нее умерли, совсем одиночка, как перекати-поле…". Однажды, когда я уезжал, говорили, что Аннушка заходила к нам, просила мне поклон передать и чтоб я не думал, что она меня обманула: что она в монастыре была недолго, только ей не показалось там, что если она теперь и живет на миру, на народе, то все равно что черничка[[2]](http://profilib.com/chtenie/136665/nikolay-zlatovratskiy-annushka-4.php#n2), что ей самой ничего не нужно… Просила слезно меня в этом уверить… Что она давно думала побывать у нас, что тосковала очень, да и то думала, что вот я такой добрый - вольную ей дал, а она будет людям, с которыми свой девичий век изжила, глаза мозолить своей вольностью… Грех, слышь, это… А что она меня очень помнит и часто молится за меня, чтобы бог открыл мне сердце… К чему она это говорила - не знают; многое она говорила, что птица щебечет… Ночевала ночку, а там и опять улетела… "Что ж, - заметил мой старый дворецкий, - от нее ведь вреда нету, Петр Григорьич, а больше как бы утешение простому народу… Я так думаю…" - "И я то же думаю, Прохор Петрович", - сказал я… Ну, вот и все, что я о ней знал, и никогда ее не видал уже… Но это, впрочем, не значит, чтоб я мог ее забыть!.. Гм… Это не так легко, пожалуй, как дать "вольную"… Да, знаете ли, - прибавил ополченец и тихо засмеялся, - ведь я вот часто во сне летал за этой "божьей птахой"?.. Да, дворянская фантазия разыгрывалась: то будто я ввожу ее в московский свет и мы кружимся с нею в вальсе… И все на нас смотрят… То будто она Жанна д'Арк (а я знаю, она должна была про нее читать с матушкой), а я будто рыцарь Лионель, стою перед нею на коленях на поле битвы (ополченец засмеялся уже громким смехом)… Да, а вот как она теперь, в действительности-то, мы это не знаем, и фантазии у нас на это не хватит…

Ополченец окончательно задумчиво замолчал, пуская густые клубы дыма, и как-то особенно выразительно и долго смотрел тогда на мою черноглазую сестренку. А матушка встала, подошла к окну и долго смотрела куда-то в неведомую даль полными слез глазами. Мы с сестренкой совсем присмирели и тоже почему-то загрустили.

Нам всегда как-то становилось грустно и жутко, когда матушка впадала в это мечтательно-грустное настроение. Нам все думалось тогда, что вдруг мама уйдет от нас. Если вы припомните, что матушка наша тоже была "мечтательница" и когда-то в девушках "бежала", накануне своей свадьбы, с одною молодою черничкой к "святым местам", то будет понятно впечатление, какое произвел на всех нас рассказ нашего ополченца, хотя, повторяю, в то время мы понимали в нем далеко не все. Перед нами носился только в смутном очертании какой-то очень милый и грустный образ маленькой черноглазой девушки, с большой черной косой и смуглыми щеками, которую похитила от ее папы и мамы какая-то злая волшебница, и с тех пор она дни и ночи принуждена была читать у кровати больной и капризной барыни. Потом, когда барыня умерла, ее выпустили из клетки, и вот она, как вольная пташка, думалось нам, летает теперь по таким же деревенькам, в какой жил наш "маленький дедушка".

В какой последовательности случилось все это, скоро или долго спустя, - не знаю, но хорошо помню, как однажды, когда мы с матушкой, по обыкновению, приехали летом гостить в село к нашему "маленькому дедушке", матушка нам сказала, что наутро мы поедем в лес, "в пустынь"[[3]](http://profilib.com/chtenie/136665/nikolay-zlatovratskiy-annushka-4.php#n3), прибавила она, чтобы, вероятно, яснее определить цель нашей поездки. Матушка нередко предпринимала с нами такие поездки но монастырям, скитам и "пустыням", вечно ища ответов на беспокойные, неудовлетворенные запросы своей души. А мне и сестренке, среди скудости впечатлений нашей глухой провинциальной жизни, такие поездки были истинными светлыми праздниками, и чрезвычайно нам нравились: ведь столько было вечно живой и светлой поэзии в сочной, яркой зелени лесов, через которые приходилось нам проезжать, и в мягком, ласкающем воздухе тихих больших рек, переправляясь через которые на утлых паромах переживаешь так много разнообразных ощущений! Впрочем, эти поездки для нас с матушкой редко проходили безнаказанно. Прежде всего недолюбливал их и сам батюшка, скорее просто из зависти, так как ему приходилось в одиночку тянуть свою крепостную чиновничью лямку, оставаясь на целую неделю с одной кривой Акулиной; главным же врагом этих наших романтических поездок была бабка, которая приходила от них всякий раз в негодование, обзывая матушку и "полоумной" и "транжиркой", которая совсем расточит все хозяйство и пустит мужа по миру. Матушка, обыкновенно, на все это вздыхала, жаловалась на свою мученическую жизнь, проливала потоки слез и тем не менее в конце концов всегда делала по-своему: неожиданно подъезжала подвода, и мы уезжали. Так было и теперь. Бабка весь вечер ворчала, и в особенности доставалось от нее какой-то "шатущей бабенке", которая неизвестно откуда еще с утра забралась к матушке и все о чем-то с ней шепталась: очевидно, она и была главной "смутьянкой" и виновницей нашей поездки. К ночи бабка совсем расходилась и окончательно запретила дедушке давать нам лошадь - "шататься невесть по каким местам, незнаемо зачем!". Дедушка покряхтел и усиленно понюхал табаку, матушка горько поплакалась на свою судьбу, но когда только что чуть-чуть начало рассветать, матушка разбудила нас, наскоро и тихомолком собрала и велела выходить к задворкам. Скоро подъехала лошадь, которою правила "шатущая бабенка", а дедушка наскоро затискивал в роспуски два наполненных чем-то мешка. Мы "духом" уселись, перекрестились и торопливо по росе тронулись в путь, сопровождаемые успокоительными знаками нашего "маленького дедушки".

Ехали мы, помнится мне, очень долго, все больше забираясь в самую лесную глушь. Помнится, нам с сестренкой уже становилось жутко в узкой просеке, между высокими, нескончаемыми стенами вековечных сосен, цеплявшихся за нас старыми, мшистыми ветвями. При каждом шорохе, раздававшемся в лесу, мы боязливо бросались и прижимались к матушке. "Э, малыши, что боитесь? Нечего бояться, - и здесь божьи люди живут. А где люди живут, там и Христос живет. Чего бояться?" - утешала нас "шатущая бабенка", заменявшая нам теперь кучера. Действительно, скоро и как-то совсем неожиданно вдруг в лесной прогалине, на зеленом отлогом спуске к заросшей камышом речке, высыпала перед нами небольшая деревенька. "Здесь?.." - спросила матушка. "Здесь, здесь, - отвечала почему-то шепотом баба и тотчас же свернула с дороги и поехала задами. - Вот сейчас тут и изба моя… И она у меня… Я ведь бобылка, с дочкой только живу, убогая у меня дочка - глухонемая с рождения… Так и жили вдвоем, а вот как она поселилась у нас, ровно просветлело все, народ около нас стал ютиться; старички, странники заходят всякие, безродные, больные которые… Так будто друг другом и держимся, и веселее, и в бога-то батюшку будто больше веруешь… Ведь нам, милая, на кого надеяться? Никто к нам, милая, не снизойдет… А ежели господь и пошлет к тебе добрую душу с утешением, то и то оберегаешься, все тихомолком".

Лошадь остановилась на задворках двойной старинной избы. Баба торопливо вскинула себе на спину мешки и, шепотом пригласив нас за собой, повела под темный навес двора.

- Вот сюда, сюда входите, - говорила баба все более и более таинственным шепотом.

И этот странный шепот, и напряженные впечатления дремучего леса, и вообще вся таинственность нашей поездки - все это так и запечатлелось в нашей душе в смутных образах тех же пугающих теней, какие тревожили наше детское воображение в избе нашего "маленького дедушки".

Мне припоминается большая темная изба, освещенная бледноватым светом спускающихся сумерек. Вдоль стены, где должна быть печь, висел полог; за ним была постель. На постели лежало что-то длинное и худое, чего мы не могли еще разобрать, но от чего из-за полога распространялся по избе тяжелый, смердящий запах трупа. Близ полога у изголовья сидела маленькая, худая, смуглая женщина, с большими темными глазами, повязанная черным, с белыми горошинами, платком; рядом с ней по лавкам сидели какие-то девушки в синих сарафанах, старухи, два-три старика. Привезшая нас баба ходила хлопотливо по избе и продолжала со всеми говорить шепотом.

Но мы напряженно и с каким-то неопределенным страхом смотрели на смердящий полог и сидящую близ него женщину, в руках у которой была книга.

- Мама! Это - Аннушка? - вдруг спросила моя сестренка. - А тут… за пологом… тут старая барыня умирает?..

Маленькая женщина удивленно посмотрела на нас своими темными глазами и, казалось, хотела подойти к нам. Но в это время полог раздвинулся чьими-то длинными и сухими, как тонкие палки, руками, и на кровати поднялась жидкая и сухая фигура темно-коричневого цвета, едва прикрытая синей изгребной рубахой. Это был мальчик лет 15–16, с изъеденным оспой лицом и белыми испорченными оспой же глазами, блестевшими каким-то странным, восторженным и лихорадочным взглядом.

Он вдруг закивал нам черной кудрявой головой, выразительно улыбаясь сверкающими белыми глазами, и сказал, показывая на сидевшую около него женщину:

- Вы к ней?.. Я знаю, что к ней… Послушайте… Да, да, послушайте ее! Ничего… Она ведь для всех рассказывает, у кого к тому желанье есть…

И мальчик, радостно улыбнувшись, опять лег навзничь, устремив в потолок свои сверкающие глаза.

- Это вот тот самый паренек… суседского мужичка, - говорила шепотом матушке хозяйка-бобылка. - Смердит, поди? Да, да… Точно, ежели с непривычки… Вот мы притерпелись - ничего… Что делать?.. Божье дело… Вот уж седьмой годок, как у отца все на печи лежал… Был прежде паренек справный, годков до девяти, - отцу уж помогал… А тут ехал как-то из ночного, лошадь сшибла - упал, да с того и прикинулось: хуже да хуже… Да вот седьмой годок с одра не сходил, - ни тебе солнышка, ни тебе людей, ни травку, ни скотинку - ничего не видывал… Так и лежал один в избе… Все на работу уйдут, у всех заботы, где им заняться: и лежит один-одинешенек да в темный угол смотрит… Маленькая женщина с добрыми темными глазами поднялась и, подойдя ко мне с сестрой, стала гладить нас по волосам.

- Хорошо, что приехали… Хорошо, - заговорила она чистым, звонким, певучим голосом. - Посмотрите, как живут здесь бедные-то… Доброе дело, сударыня, что с собой их берете… Как знать, что им вперед уготовано… Может, придет время - вдруг сердце им и откроется… И вспомнится им обо всем, что видели да слышали… Я ведь по себе знаю… Вон какая востроглазая!.. Я вот такая же была, - говорила она, любовно и весело смотря на мою сестренку. - Вырастешь - не забудь меня…

Вдруг худой мальчик опять поднялся на кровати, замахал нам руками и головой и заговорил:

- Семь лет… не видал божьего солнышка… теплого ветерка не чуял… птичьего гласа не слыхивал… цветочков, травушки зеленой не видывал… Одна тьма вокруг стояла, - говорил мальчик, порывисто, задыхаясь, нервно и торопливо. - А теперь… теперь все вижу и знаю!.. Теперь она мне солнышко красное, месяц светлый, звезды яркие… Теперь я везде - моря-океаны переплыву, жаркие и холодные страны пройду… Вот Авраам, патриарх, странствует в шатрах своих, со стадами… Вот Моисей-пророк народ свой избранный изводит из плена фараонова… Вот младой юноша царь Давид… И сам Христос на Голгофе… И великие мученики, за нас, бедных, кровь пролившие… И что я вижу: времена и пространства… и несметное полчище людей проходит… И были для всех времена тяжкие, изживали казни лютые… И все проходило!.. Нарождались мужи великие, приходили к бедному народу, провещали могучие глаголы - и погибала неправда великая!.. Что я теперь вижу, слепец прозревший!..

В испуге смотрели мы, не спуская глаз, на мальчика: он весь был как в лихорадке, коричневое лицо его передергивалось все, он постоянно поднимал кверху руки и восторженно сиявшие глаза.

- Петя, ляг… Ляг, болезный, умирись… Нехорошо тебе так… Вот поправишься, окрепнешь… Вот тогда уж… - говорила маленькая женщина, заботливо укладывая мальчика.

- Беспокоится очень, - говорила бобылка, - того гляди, не выживет… Оченно уж его все сразу осветило… А паренек-то добрый, до всего чуткий…

- Почитай им!.. Расскажи им!.. - вдруг тихо сказал мальчик маленькой женщине. - Пусть послушают…

И когда мальчик несколько успокоился, маленькая женщина начала рассказывать…

Но утомленные ли дорогой, или всеми этими странными, напряженными и необычными впечатлениями, мы с сестренкой, прикорнув в противоположном углу, скоро заснули под певучий, размеренный рассказ маленькой женщины, и для нас все смешалось с миром фантастических сновидений и потонуло в них.

И чудится мне опять старая дедушкина изба, зимний морозный вечер и таинственные блуждающие тени, которые одна за другой собираются робко "обогреться" в гостеприимной дедушкиной храмине. Вот тут и мрачный дворовый человек Александр, и костистый мужичок Филимон, и сам мой "маленький дедушка", и его приятельница слепая Фимушка, и моя мечтательная матушка, и батюшка с ополченцем, и еще какие-то "маленькие и ничтожные существования", и бобылка, у которой мы были в лесу, и худой убогий Петя с восторженными белыми глазами, и сама Аннушка, и будто она все говорит и говорит долго-долго своим певучим, размеренным складом. Говорит она о великих пророках и ходатаях народных, о подвижниках и мучениках за правду и обо всем, что сохранила ей память… Часто в ее рассказах правда перепутывалась с вымыслом, перепутывались события, но одно только горело в них непреходящим светом - правда любви, самоотречения и подвига за униженных и обремененных.

И вот, когда она рассказывает что-то из событий, близких к нашему времени, чудится мне, как мрачный Александр поднимается и, сверкая своими пронизывающими глазами, говорит:

"Стой, женщина, останови лукавые уста!.. Кого хочешь обольстить речами сладкими? Зачем обманом хочешь напоить душу, дабы потом ввергнуть ее в пасть отчаяния?.. Зачем?.."

- Александр, не отчаивайся!.. Верь, - говорит дедушка, но Александр продолжает сверкать своими острыми глазами на Аннушку.

- Верь!.. Чему верить?.. Нет теперь защитников бедных и сирых, нет подвижников правды!.. То были древние люди, - и не посылает господь более к людям спасителей… Все померкло во мраке греха и суеты!.. Рабу презренному нет надежды, кроме петли Иуды!.. И вот конец ему, Агасферу треклятому… Отец! - вдруг с какой-то дикой мольбой, чудится мне, обращается он к моему деду. - Отец, скажи, укрепи: неужели не ложь говорит устами обольстительными этой женщины?.. Неужели и в наши дни господь может говорить через избранных - в защиту сирых и бедных, в поношение и обличение мира зла и неправды?.. Отец! Спаси - или… один конец ему, Агасферу треклятому!..

- Александр, не отчаивайся… Слушай эту женщину, и сердце твое откроется кроткой вере, и мир, и радость, и надежду обретет душа твоя…

- Говори, умница, рассказывай, рассказывай нам, слепым и темным! - говорит вдруг и костистый мужичок. - Верно это: быть правде, быть!.. Стучись, умница, стучись - и вскроется правда!..

**Примечания**

**1**

*Клирошанка -* монастырская послушница, поющая на клиросе или прислуживающая в церкви.

**2**

*Черничка, черница -* монахиня.

**3**

*Пустынь-* уединенное безлюдное место, где живет отшельник; одинокое жилье отшельника.

[www.profilib.com](http://www.profilib.com)

**Триумф художника**[**[1]**](http://profilib.com/chtenie/136675/nikolay-zlatovratskiy-triumf-khudozhnika-2.php#n1) ***Современный случай***

**I**

Небольшая и бедная студия художника N находилась на одной из линий Васильевского острова, в Петербурге, в четвертом этаже нового громадного дома. В осенний вечер 18… года студия была слабо освещена стенной керосиновой лампой. Сам художник N, только что вернувшийся с выставки, на которую он недавно выставил свою картину, – нервно ходил из угла в угол, то той, то другой рукой пощипывая бороду. Он был человек уже полысевший, лет 35-38, с крупными, но симпатичными чертами лица, на котором резко выступал тот особый отпечаток, который кладет вечная смесь докучающих житейских забот с напряженной работой и редкими минутами высокого вдохновения. Глубокие складки какой-то сердитой и хмурой, но мягкой, робкой серьезности бороздили его лоб, а тот же сердито-робкий взгляд серых глаз выдавал все бессилие человека перед удручающими парадоксами жизни. Очевидно, они были ему хорошо знакомы. Он продолжал ходить из угла в угол, а сидевшая в углу его жена – худая и бледная молодая женщина – с пугливым состраданием следила за ним. Она, видимо, несколько раз порывалась что-то сказать мужу, но взглядывала на него – и не решалась. Наконец слова эти сорвались с ее губ.

– Ты не обижайся, друг мой, – проговорила она робко и запинаясь, – я опять повторю тебе… ты слишком высоко поставил цену… У нас, теперь, когда вкусы публики такие странные…

– Лида! Лида! – вскрикнул муж, останавливаясь перед ней и покачивая сокрушенно головой.

– Ах, боже мой! – с грустью и торопливо перебила его жена. – Неужели до сих пор ты не можешь понять, что я не хочу тебя обидеть?.. Ведь я понимаю, знаю все… чего тебе это стоило… Но я истерзалась, глядя на тебя!.. Вот уже полгода, как картина на выставке, и… у нас уже все заложено, кредиторы не дают покоя тебе… Дети… Ведь ты не можешь забыться, ты сам мучаешься…

– Лида! – заговорил муж. – Ты безжалостна… Три тысячи, только три тысячи – за три года упорного труда, страстного напряжения… Ты знаешь, я в нее положил всего себя… Мне уж скоро стукнет сорок. Надо же когда-нибудь было сделать что-либо капитальное… Бог весть, – сделаю ли я что-нибудь еще лучшее!.. Три года! Ты знаешь, мы перебивались кое-как, и ты, и дети – всем жертвовали… У нас долги, у нас все прожито… И за все это – три тысячи! Только три тысячи – и ты говоришь: много!.. Да пойми ты, радость моя, если мы получим эти три тысячи, то послезавтра… послезавтра у нас уже не будет сотни рублей, а мы успеем покрыть едва половину долгов!.. О, Лида, если б я взял за нее даже пять тысяч с них, – у меня не дрогнула бы рука!.. Притом, Лида, мне как-то все еще жалко с ней расставаться, – с особой нежностью заговорил художник, садясь рядом с женой и пожимая ей руку, словно умоляя о чем-то, – на выставке – она еще моя, ее видят еще все. Я каждый день бегаю смотреть… Мне так дорога каждая деталь… Ведь на каждую эту деталь потрачено столько муки, восторга, чувства и мысли… И все это продать, продать свое дитя, чтобы уже никогда не видать его больше!..

Жена тихо и молча, вместо ответа, пожала, в свою очередь, мужу руку и, вздохнув, вышла в соседнюю комнату на плач проснувшегося ребенка. Художник долго сидел молча, в том же положении, и смотрел в передний угол, на пустой мольберт, на котором некогда так долго стояла его любимая картина. И вот деталь за деталью вставали в его воображении: и лик Христа, строгий и величественный, но вместе полный неизъяснимой нежности к собравшейся вокруг него группе матерей с детьми; целый цветник детских головок, разработанных в самом тщательном, строгом и высоком стиле, был разбросан по полотну. О, какая прелесть были эти головки, кудрявые, розовые, нежные, с ангельски-наивными и доверчивыми личиками. И эти же матери – как они строго выдержаны, как полны воплощением здоровой, нормальной жизни под ярким небом Палестины. Казалось, чувствуешь их чувствами, мыслишь их мыслями, ощущаешь всю полноту внутреннего материнского чувства гордости и довольства, которыми были они охвачены. Эта идея– соединить в одном моменте полноту здоровой реальной жизни с высочайшим идеализмом – особенно занимала художника… И ему казалось, что он овладел ею… Хотя масса зрителей как будто плохо понимала ее внутренний смысл, не приходила от нее в восторг, но строгие судьи оценили по достоинству ее выдержанный классический стиль, – и художник верил, что таких судей будет все больше и больше, что, наконец, все поймут и по достоинству оценят его добросовестность, глубину мысли и чувства, вложенных в картину. Он уже увлекся мечтой, что его картина красуется среди произведений великих мастеров, в громадной национальной галерее, равно доступной всем, и он сам не раз-другой забегает взглянуть на свое детище и улыбнуться тихой, нежной улыбкой отца, в душе которого проснулись все пережитые впечатления… Он рад, он в восторге, он чувствует, как из этих тысячных масс, проходящих ежегодно через галереи, – то в той, то в другой восприимчивой душе его картина вызовет чувство высокого эстетического наслаждения.

Он мечтал уже целый час, при сумрачном свете лампы, весь охваченный тем тихим сладким чувством удовлетворенного мастера, которое иногда, но в очень-очень редкие минуты, посылает судьба исстрадавшемуся в сомнениях художнику.

Раздался звонок.

– Можно видеть господина художника? – спросил кто-то в передней.

– Можно. Входите.

И в студию вошли два господина: один пожилой, солидный, но чувствующий себя как бы не в своем месте; другой – помоложе, изящный и вертлявый, очевидно, состоящий при первом в качестве атташе. Оба со сладкими и располагающими улыбками протянули руки к художнику, расшаркиваясь и сыпля комплиментами.

– Ваша картина… Изумительная техника… Единодушный отзыв всех просвещенных ценителей… Притом заметны… глубина и строгость стиля… Вот-с Петр Иванович, – говорил младший, показывая на старшего, – известный коммерсант из Р., обратился ко мне… Они отделывают себе дом и желали бы придать возможное изящество… Развитие вкуса уже сказывается везде… даже в глухих углах отечества… Поощрение истинных талантов… Я, конечно, счел своим долгом указать…

– Главное дело… сюжет… Одобряю… вполне… Хорошо, очень хорошо!.. Может быть, не откажете уступить… Вполне бы украсило ваше произведение мою… избу-с!.. Могу сказать, вполне… сделали бы честь… Помещение будет хорошее-с, ручаюсь… Вполне, думаю, достойное, – говорил старший.

– Я согласен, – сурово ответил художник, пощипывая бороду.

– Не уступите – с тысчонку?

– Не могу.

– Ну, может статься, рубликов 500 скинете? Я бы рамку посоответственнее на свой счет приобрел…

– Хорошо, – резко и неожиданно ответил художник и в волнении раза два прошелся по комнате.

– Позвольте просить… пожаловать к нам, – приглашал старший, – вы уж сами сопроводите картинку… Мы все честь честью… примем вас, как подобает… Будьте в надежде… Ценить умеем… Вы уж сами все установите… Посмотрите, как вам будет удобнее… Пожалуйста… Будет для нас как бы торжество… А вот и задаточек, и на дорогу.

Коммерсант положил деньги на стол, и, рассыпаясь в комплиментах, посетители вышли.

– Лида! Конец восторгам и сомнениям, мечтам и терзаньям! – крикнул художник. – Вот все, что требовалось доказать, – прибавил он, подавая ей пачку ассигнаций. – А теперь будем натягивать новое полотно.

– Зачем же так мрачно смотреть, друг мой, – заметила жена, – твое создание ты продал не на сожжение… Оно будет жить в чувствах тех, которые будут им наслаждаться… А притом, посмотри, еще какой тебя ожидает триумф в Р.!

– Что ж, возьмем хотя эту небольшую долю радости! – воскликнул художник. – Лида, пошлем за бутылкой вина и повеселимся хоть один час! Мы и дети по крайней мере сейчас будем сыты… Неужели что-нибудь отравит нам даже эту ничтожную радость?

**II**

Большая картина, в сопровождении самого мастера, прибыла с вечерним поездом в город Р. Роскошное, недавно оконченное палаццо провинциального коммерсанта уже готовилось встретить давно ожидавшегося гостя. Осенние, пронизывающие и сырые сумерки едва успели спуститься на город, а дом коммерсанта сиял уже, весь залитый огнями, как и стоявшее с ним рядом громадное здание фабрики, неистово и сердито как-то гудевшее на весь город. Скромный художник добрался наконец до богатого подъезда со своим дорогим детищем. Четыре гайдука быстро подхватили последнее и бережно понесли вверх по бронзированной лестнице. Встреченный у самого входа гостеприимным и радушным хозяином, художник, несколько ободренный, вступил в роскошное палаццо вслед за своим творением. Он в душе детски порадовался, что его детищу судьба готовила такую обстановку. На верхней площадке лестницы картина была распакована из ящика и торжественно пронесена через ряд роскошно меблированных покоев, при единодушных и торжественных овациях целой толпы гостей, в большую залу, где было уже приготовлено для нее место. Двери за картиной затворились, – и в святилище остались пока только гайдуки, хозяин и сам художник. Прошел час, пока наконец картина была повешена настоящим образом, при надлежащем освещении, и утомленный художник проведен хозяином в назначенную для него комнату, чтобы приготовиться к обеду. Большая гостиная уже была полна городской знатью, когда вошел художник, встреченный рукоплесканиями. Наконец, по знаку хозяина растворились двери в залу, и нетерпеливая разряженная толпа двинулась в нее – и вдруг в изумлении остановилась, как будто замерла на минуту, и затем медленно стала подвигаться к картине… Нет, это не была даже картина – это была группа живых женщин и детей, как будто перенесенных из жаркой Палестины в глухой провинциальный русский городишко. Яркий восточный колорит так и выпирал из золотой рамки и, казалось, совсем поглотил собой пеструю роскошь провинциального палаццо. Зноем полуденного солнца, казалось, жгло всю залу, пальмы как будто распространяли благоухание; дети – настоящие херувимчики, – казалось, вот сейчас выскользнут из рук матерей и бросятся бегать по блестящему, навощенному полу залы… Купчихи умилялись, не зная, можно ли им креститься или нет, купеческие дочки ахали и восторгались, купцы сановито поглаживали бороды и улыбались от удовольствия, и даже сам исправник не нашел, в чем бы можно было упрекнуть картину. Изумление и восторг были полные. И когда раздалось приглашение к столу, единодушные овации посыпались на художника. И земцы, и юристы, и учителя, и представители духовного ведомства – все сливались в единодушном выражении одобрения художнику и благодарности хозяину за доставленное им удовольствие. Обед был только еще более шумным продолжением триумфа. Тостам не было конца. Когда же раздалось хлопанье шампанского, – все встали и громкий крик "ура!" загудел по всему дому… Хозяин до того был польщен таким успехом своей покупки, что, отведя в сторону художника, попросил позволения расцеловать его и тут же вручил ему всю сумму сполна, даже не кладя в счет задаток…

Взволнованный и утомленный, художник, машинально сжимая в руке ассигнации, вышел в соседнюю пустую комнату. Здесь он прислонился к косяку и стал смотреть в окно. Черная, сумрачная, осенняя мгла висела там, за окном, – и только какие-то странные огоньки мигали, двигались, потухали на одном определенном пространстве вдали. Словно блуждающие огни на кладбище, перебегали они с места на место, фантастические, причудливые, – а за ними, так же фантастически, то вырастая до гигантских размеров, то сокращаясь и совсем исчезая, двигались какие-то тени.

Долго и пристально всматривался художник в эту странную картину и не мог оторваться от нее.

Обеспокоенный его отсутствием, к нему подошел хозяин.

– А! Вы здесь…

– Скажите, что это такое? Я никак не могу догадаться!.. У вас там заколдованное место, – сказал художник, – это не кладбище?

– Это-с? Это мои огороды, там, за фабрикой. – Что же это за огни?

– А это-с ребячья смена…

– Что это значит?

– Ребячья смена… Ребятишки на фабрике сменились… На отдых, значит, – смену кончили… Чем бы вот отдыхать идти, спать, – а они, вон плуты, на огороды забираются… Это уж каждую осень… Как снимем огурцы, капусту, картофель выроешь, репу, – так вот они после того целый месяц еще в грядах копаются: кочерыжки едят, картофель откапывают, репу… Много находят… Ну, да я допущаю… Пускай… Пойдемте же, пойдемте, батюшка, к нам туда… Вы уж нам расскажите, – желаем послушать, – откуда вы это для своей-то картины все взяли, чтобы так, то есть натурально, все изобразить?

– Позвольте мне выйти на четверть часа… У меня голова идет кругом, – сказал художник, – я пройдусь на свежий воздух…

– Хорошо-с, хорошо-с!..

Художник прошел через шумную залу, где весело раздавались смех, говор и клики подкутивших гостей. Вино не переставало литься в бокалы; музыканты разыгрывали туш; кто-то продолжал кричать "ура!" и "браво!" Кто-то произносил спич… И долго этот гул еще слышался художником, хотя он уже давно завернул за угол дома. Он прислонился к углу и смотрел опять в ту сторону, где мелькали огни… Он сначала долго стоял и всматривался в них, – и вдруг крупным шагом пошел по направлению к ним. Спотыкаясь во тьме, попадая в канавы и ямы, почти ощупью, шел он по замерзавшей земле, увлекаемый какой-то непобедимой силой… Он видел, как огоньки становились все реже и реже, как они пропадали один за другим… Вот их осталось не больше пяти, мигавших вдали один от другого, в разных направлениях. Один такой огонек шел прямо на него и, чуть не столкнувшись с ним, вдруг быстро и в испуге побежал в сторону. Он мог только заметить, что это был фабричный мальчик – рабочий, с деревянным фонарем в одной руке и с шапкой с набранным картофелем – в другой… Художник шел дальше на один огонек, горевший все время неподвижно, на одном месте.

Вот он наконец подошел к нему. Еще издали ветер донес до него острый свежий запах дыма. То была разложена в борозде теплина, в которой виднелась кучка уже обуглившегося картофеля. Теплинка медленно потухала, потому что два мальчика, бывшие около нее, спали прямо на земле; один был в стареньком рваном полушубке, другой в шугайчике. Мальчик в полушубке лежал прямо на груди, а мальчик в куцавейке заснул, облокотившись на его спину. Измятый, свалившийся с чьей-то головы, с изорванным козырьком картуз валялся тут же… Мальчик в казакине, должно быть, услыхав шелест шагов, проснулся было, взглянул через полуоткрытые веки на теплину и, уронив голову на грудь, заснул опять… Холодный осенний ветер рвал его беловатые волосы, срывал шляпу с головы художника, пробирался холодной струей под пальто и раздувал потрескивавшую теплинку. Вдали виднелись черный столб высокой фабричной трубы с красным снопом пламени, как-то зловеще-ярко горевшим во тьме, освещенные ряды фабричных окон и весело лившийся свет из окон хозяйского дома.

С тех пор художника уже не видали ни в Р., ни в доме, где была его картина, которую на другой же день купец завесил покрывалом. Через год после того рассказывали в Петербурге, в кружках художников, о странном случае внезапного падения таланта, подававшего большие надежды, и приводили в пример художника N, который, после удачного дебюта, уже не мог написать и докончить ни одной картины. Он перебивался с семьей тем, что успевал зарабатывать рисованием дешевых портретов да иллюминовкой фотографических карточек. Через три года он стал совсем стариком, осунулся, сделался нелюдим, избегал своих товарищей, не имел связей ни с каким обществом и знал одну свою семью. Только часто целыми днями и вечерами он долго бродил по фабричным окрестностям или в глуши соседних деревень, каким-то странным, блуждающим взглядом озирая проходившую перед ним трудовую жизнь. Встречавшиеся с ним в это время говорили, что он, несомненно, накануне роковой психической болезни, другие предполагали, что в его художнической душе совершается глубокий мучительный перелом, из которого он не находит выхода. В среде его близких были уверены, что он так мучительно искал нового творческого воплощения Христа… Христа для "малых сих", и когда он найдет это, – он снова воскреснет для жизни и искусства.

**Примечания**

**1**

Впервые – "Русский сатирический листок". 1884. No 5, под заглавием "Триумф художника. Современный случай".

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912. Т.7

[www.profilib.com](http://www.profilib.com)

**Мечтатели**

***Рассказ***

**I**

Когда кто-нибудь спрашивал Липатыча или Дему, всякий тотчас же, с особой готовностью, показывал в угол длинной и высокой мастерской с огромными закопченными и пыльными окнами, где они оба работали бок о бок: "Вон, вон они, Липатыч и Дема, у нас как же!" И при этом все почему-то улыбались непременно, но улыбались добродушно, ласково, любовно, как будто одно напоминание о них уже вызывало особое настроение в душе заводского человека.

Липатыч и Дема – оба были простыми рабочими в механической мастерской и закадычные приятели.

Липатыч был старый служака, выслуживший уже все сроки на пенсию, если бы только последняя для него существовала; Дема был почти вдвое его моложе. Липатыч был давно одинок и давно уже семьей была для него только та постоянно менявшаяся артель, в которой он работал; Дема же был женат и имел двоих детишек. У Липатыча поэтому не было своего хозяйства, и он нанимал "угол" в каморке Демы, а ребятишки Демы звали его "дедушкой".

И Липатыч и Дема были крестьяне, но Липатыч так давно уже был увезен из деревни в "учебу", что совсем забыл о своем деревенском происхождении: ему казалось, что не только он сам никогда не выходил за пределы "заводской округи", но что и родился он чуть ли не в самой мастерской. Это был истинно рабочий человек, – та, всем знакомая городская "мастеровщина", у которой, как известно, есть свой "нрав".

Дема – совсем наоборот. Несмотря на то что он уже лет десять работает рядом с Липатычем, несмотря на то что уже давно и семью к себе выписал он из деревни, – он весь жил в деревне; он за все эти десять лет как будто не видал хорошенько своей мастерской; она с утра до вечера только неясно, в каком-то тумане мелькала пред ним. И завод, и самый город – это было для него что-то временное, переходящее, как сонное видение, как станция, на которой останавливаются на несколько минут, чтобы проглотить кусок. Перед ним, в туманной дали, как желанная пристань, постоянно носилась деревня; вместо закопченных и сырых стен мастерской, среди грохота и шума машин и инструментов, он слышал трели жаворонка, скрип возов с сеном и снопами, говор сельской улицы; он видел свою избу, свою корову, лошадь, широкие поля, чистое бирюзовое небо, зеленый лес и… и простор, простор необозримый. "Вот уж скоро, – думал он постоянно и упорно каждый вечер, кончая работу в мастерской, – вот еще разве годок только, а там с ребятами переберемся к себе в деревню… И жена вздохнет… Все же оно там привольней, а то здесь, в прачках, уморилась… Теснота, сырь, болезни… Только бы вот на хозяйство скопить, а там и шабаш!.." Но проходил год, другой, а Дема все стоял у станка с утра до ночи, а другой раз и с ночи до утра, и пред ним по-прежнему, вместо грязного, темного и вонючего заводского двора, расстилался чистый, благоуханный простор деревенского поля… Дема, одним словом, был ненадежный человек среди коренного заводского населения; он принадлежал к той особой, впрочем, у нас еще довольно значительной группе рабочих, которая известна на заводах под кличкой "деревни".

 Таковы были наши два приятеля. Дема уважал и по-своему даже любил Липатыча; Липатыч был привязан к Деме, но, как городской человек и притом пожилой, несколько ему как будто покровительствовал. Вообще они жили мирно и дружно, за исключением тех случаев, когда на Липатыча "находило" или "накатывало", как сам он говорил, и когда Дема за него "опасался". Особенно часто стало "находить" на Липатыча в последнее время, – оттого ли, что он чаще стал прихварывать или по другим причинам. Прихворнув, теперь обыкновенно Липатыч сердито говорил: "Ну, пора, пора тебе, служака, в яму лезть! Чего еще ждать?.. Сваливай колоду – отслужила!.. Кому нужда в гнилой колоде!.. На гнилую колоду неоткуда и слезе капнуть!.." Дема обыкновенно обижался на эти речи Липатыча, но в душе тем не менее хорошо понимал и чувствовал, как холод одиночества снедал Липатыча, и старался его утешить. Однако Липатыч этого не любил. "Ну, деревня, распустила нюни!.. А ты гляди прямо, в самую точку… Нечего глаза-то в сторону сворачивать!.." – ворчал он. И действительно, чуть только болезнь "отпускала" Липатыча, – он снова бодро нес свою рабочую службу, и только теперь чаще, чем прежде, разнообразя ее взрывами того особого "озорства", которое знало за Липатычем все население завода.

– Эй, деревня! Али помирать здесь задумал? – говорил одним воскресеньем Липатыч, входя в мастерскую, где уже все не только кончили "казенные уроки", но и то, что успели урвать из "казенного времени" на свой собственный барыш, а Дема, ничего не замечая и не слыша, продолжал неистово визжать громадным рашпилем по куску стали, воображая, может быть, что жаворонок напевает ему свои трели. – Ты чего же, деревня, забыл, что ли, что ноне праздник?.. Чего жадничаешь? Вас бы, жадных, давно следовало по шеям с завода… Баловство вот эдакое заведете да потом по деревням и разбежитесь… Брось, говорю, эту ахинею – все об одном думать… Я, брат, думал тоже. Не хватись вовремя, смотрел бы давно вперед затылком… На гвоздь уж веревку прилаживал… Бог спас!.. Я вот и один, да от такой подлости отбился, а у тебя семья… Брось, говорю…

– Ты, Липатыч, другой человек, – тихо и как-то мечтательно заметил Дема.

– Какой такой другой человек? Почему так? – обиделся Липатыч, грозно сверкая темными глазами из-под седых бровей. – Это еще надо доказать… Да… И ты человека старше себя обижать не имеешь права.

Липатыч был вообще очень чуткий человек ко всякой обиде; теперь же он окончательно был рассержен и хотел уйти, не дождавшись приятеля.

Тогда Дема, взглянув мельком на Липатыча, грустно почему-то покачал головой и сказал:

– Я вас, Вавил Липатыч, обижать не намерен… Я только к тому, что у меня – одно мечтание, а у вас – другое. Я вот к чему.

– Ты так и говори… А то – другой человек!.. Мы, брат, все одни, человеки-то!.. Пойдем чай пить.

Оба приятеля выбрались из мастерской и пошли по направлению к трактиру, и трудно было определить, кто из них был старше, так как Липатыч всегда шел впереди, гоголем, гордо и вызывающе подняв, как петух, голову, покрытую копной седых волос, на которой сбоку, блином, лежал замасленный картуз, а обе руки были засунуты в штаны под блузу; Дема же, напротив, шел тихо, медленно двигая длинными ногами, сутуловато согнув широкую спину и опустив вниз изъеденное оспой широкое добродушное лицо, с мясистым носом и крупными губами, как будто его неустанно пригнетала его неотвязная дума.

В ближайших к заводу трактирах и портерных[[2]](http://profilib.com/chtenie/135613/nikolay-zlatovratskiy-mechtateli-7.php#n2) стоял дым коромыслом; все столы были заняты. Двери уже не визжали, а как-то жалобно стонали, устало и изнеможенно. Липатыч и Дема сели рядом с одной кучкой рабочих. Липатыч заказал чаю и мрачно молчал. Дема уже не раз внимательно и опасливо взглядывал на него и чувствовал, что нынче Липатычу не по себе и что, того гляди, он окажет свое "озорство".

Рядом сидевшие рабочие о чем-то громко беседовали, когда Липатыч совершенно неожиданно прервал их, не обращаясь в частности ни к кому.

– Я говорю, что всему причина дух этот самый… немецкий, – твердо и уверенно выговорил Липатыч на всю комнату несколько осипшим басом, подняв вызывающе, как и всегда, свою седую львиную голову и сверкая из-под седых бровей темными глазами. – Да, и от этого к нам всякая пакость идет…

– Ну-у! – проворчал Дема и сокрушенно покачал головой. Он уже знал, что такой приступ ни к чему хорошему не приведет, если Липатыч попал на эту "линию".

– Не смей! Молчи! – замахал Липатыч грозно своей, принявшей уже совсем стальной цвет рукой, предупреждая возражение. – Я знаю, что говорю… Сорок пять лет он у меня вот где сидит… И как его только к нам через границу пропущают – диво!.. Деньги, главная вещь, – не иначе… Потому, нет чтобы перенять что ни то хорошее от него, а все норовят пакость самую… Вот от этого и нет ни свету, ни воздуху для рабочего человека… Это просто одна подлость али измена!.. Да, ума нет – вся причина: дурачье! Больно уж смирен да богобоязлив русский человек, страх божий у него есть, – вот его всякий и лупит и в хвост, и в гриву…

– Ну, брат, тоже… – возразил вдруг один молодой, худенький и низенький рабочий, в новой синей блузе, с темным маленьким лицом, длинным сухим носом и быстрыми бегающими глазками, которого все звали Юркой. – Другой русский тоже, брат… есть тоже такие… хахали!.. О, о! Еще почище немца… Еще они самим-то немцем вроде как колбасой закусят да жидом поперчат!..

Громкий хохот десятка голосов раскатился по трактиру.

– Что-о? – сурово спросил Липатыч.

– А вот и то! – говорил поощренный Юрка, входя в азарт. – Брешешь ты – вот что! Немецкий дух!.. Своего весьма достаточно… Зачем, вишь, за границу пущают, измена! А ты вот поди попробуй – устрой шламбаум?

– Ты со мной не смей так говорить… Слушай ухом, а не брюхом об чем говорят, – степенно-сурово сказал Липатыч. – Молодо-зелено так-то разговаривать… Послужи с мое… Сорок пять лет…

– Что – сорок пять лет! Заладил одно!.. Тут, брат, наука-то нехитра… Мы тоже побывали в разных хороших местах, насмотрелись прелестей… Немцы! И немцы есть хорошие люди… Тут не в немце дело, а в положении лица… в жизни… в самой то есть жизни… Понял? Вот я тебе и говорю – своих подлецов весьма достаточно… Русачок-то, он, брат, тоже скользкий, мылом смазан… хоть бы наш Псой Псоич!.. Да чего далеко ходить: середь нас самих такие есть братцы-русачки – их голой-то рукой не трожь… Ящеры! Ха-ха! – засмеялся Юрка своей собственной остроте, и хохот гостей снова потряс жидкие трактирные перегородки, а на лампах задребезжали стеклянные подвески.

– Молчи! – крикнул Липатыч, грозно поднимаясь из-за стола. – Как ты смеешь такие слова говорить про своего брата? про рабочего?.. Ящеры?.. Да ты кто сам-то? – И вдруг Липатыч, схватив Юрку за плечи своими могучими руками, затряс его, как медведь молодую осину. – Ты кто, молошная твоя губа? – спрашивал Липатыч, сверкая глазами и подставляя свой толстый с синеватым налетом нос к самому лицу Юрки. Юрка не ожидал такого наступления: он смутился и медленно отступал, когда, не торопясь, по обыкновению, подошел к Липатычу Дема и ласково и тихо положил ему на плечо руку.

– Вавил Липатыч, нельзя так, – проговорил он, – несправедливо… У всякого своя есть правда… и всякий волен свою правду говорить… Надо быть справедливым…

– Ежели правда – всегда скажу! – заговорил ободренный защитой и Юрка. – Почему правду нельзя говорить?

– Убью!.. Молчи!.. Слышишь, убью за свово брата! – кричал Липатыч на Юрку, не обращая внимания на Дему. – Все поносят, все… и ты еще… Дуби-ина-а эдакая!..– выразительно закончил Липатыч и оттолкнул, хотя и осторожно, могучими руками слабого и худенького Юрку к стене. Затем он сурово окинул взглядом Дему и, ничего не сказав, отвернулся от него в сторону. В это время Юрка, чтобы оправиться и несколько поддержать в себе упавший дух, стал крутить дрожащими руками сигаретку, опасливо посматривая исподлобья на Липатыча, который продолжал стоять посередине комнаты, обводя возбужденным взглядом все еще смотревшую на него толпу трактирных гостей. Это временное затишье, по-видимому, опять придало храбрости неугомонному Юрке.

– Правду, брат, не скроешь, – снова осмелился он заметить, хотя и значительно тише. – Видали мы народец и из наших русачков… Видали, брат… Плодится он теперь не меньше немца… Не к чему и за границу посылать!.. Тоже немецкий вкус понимаем! – уже довольно свободно закончил Юрка, попадая в прежний тон снова, когда раздался поощрительный хохот.

– Отстанешь ты? А? Ты меня, окаянный, до какой степени довести хочешь? – уже не сказал, а как-то зашипел на Юрку Липатыч, высвобождая из карманов руки. Заметив жест Липатыча, Юрка не решился продолжать. Но зато вдруг возмутился смиренный Дема; с ним произошло что-то странное; он весь покраснел, пот выступил у него на лбу, прежде чем он собрался говорить.

– Не хорошо… так… Нет, не хорошо, – сказал он, не глядя на Липатыча, и на лице его уже не было обычной грустной улыбки; оно было сердито, и напружившиеся на лбу жилы побагровели от непривычного волнения и напряжения. – Что ж, коли правда?.. Правду должен говорить всякий… Надо быть справедливым… Особливо старому человеку… Это – первое дело!..

Липатыч подозрительно и удивленно взглянул на Дему.

– Правда, по-твоему? Правда, говорите?.. А? – Так на что же тогда надеяться-то, надеяться на что, окаянные вы люди? – крикнул Липатыч, но вдруг в самом конце его голос неожиданно надтреснул, задрожал, он почувствовал, как что-то поднялось у него к горлу и слезы подступили к глазам.

Липатыч смутился, быстро отвернулся, отошел в свободный угол и затем, подойдя к стойке, сердито сказал буфетчику: "Налей!.." Он выпил стакан водки и, не закусывая, ни на кого не смотря, не оборачиваясь, сердито вышел в другую, заднюю дверь.

Дема все время исподлобья следил за ним – и опять грустная, задумчивая улыбка чуть заметно появилась на его губах.

– Липатыч-то наш… загрустил, братцы, – уже совсем развязно сказал окончательно оправившийся Юрка, подсаживаясь к товарищам.

– Загрустишь, брат, – заметил глухо кто-то из дальнего угла. – Еще то ли заговоришь, как во тьме-то кромешной тридцать лет просидишь!

Дема при этом вдруг о чем-то вспомнил, может быть о своем собственном "мечтании", и глубоко вздохнул. Он было поднялся, чтобы выйти из трактира, как тихо и медленно ступая, словно в туфлях, подошла к нему и к Юрке какая-то странная фигура, в длинном, потасканном и засаленном пальмерстоне, в резиновых калошах вместо сапог, в старом цилиндре, с большими очками на толстом носу и с бритым подбородком. Странная фигура сняла цилиндр, оголив совсем гладкий череп, обрамленный жидкими рыжеватыми, с проседью, волосами, и стала низко раскланиваться, улыбаясь и причмокивая ввалившимися губами.

Юрка вопросительно и несколько даже нахально вскинул на нее глаза.

– Извините… Позвольте пожать ваша честная рука, – сказала фигура, протягивая сначала Деме, потом Юрке свою пухлую, красную, с рыжими веснушками руку. – Вы добра душа… Да… Мы тоже бывайт много несчастлив… О, да, да!.. Много труда и много несчастлив… Надо быть справедливый!.. Бог один…

И фигура, жалостно улыбаясь, робко раскланялась и снова отошла, надев цилиндр.

– Пфр! – фыркнул Юрка и вслед ей сделал самую школьническую гримасу; сидевшие с ним рабочие фыркнули, в свою очередь, и громко засмеялись.

Жалкая фигура медленно повернулась и в недоумении посмотрела на них.

– Бог один для всех! – повторила она и, снова жалобно и ласково улыбнувшись, пошла к двери.

Дема был взволнован и всей историей с Липатычем, и этою сценой, которую он не мог понять хорошенько, но от которой чувствовал тяжесть на душе, и ему не нравился смех рабочих. Он взял фуражку и незаметно выбрался из трактира.

**II**

Липатыч быстро шел по заводской улице, расталкивая попадавшиеся ему группы рабочих. Напряженно растерянными глазами он глядел вперед себя и, по-видимому, кого-то и что-то искал, но кого ему нужно было, он никак не мог припомнить. Он только чувствовал, что ему было душно и жарко и что внутри у него что-то "подкатывало" и клокотало, как в котле с кипятком. Он скоро и незаметно дошел до конца улицы – и остановился: пред ним был пустырь. Тогда он вдруг как будто что-то вспомнил и, быстро повернувшись, пошел к своей квартире. Там была жена Демы, – высокая, худая, с высохшей грудью женщина, которая шила у окна, и ее ребятишки. Ребятишки бросились было весело к Липатычу, но, взглянув на его лицо, пугливо и смущенно остановились. Липатыч этого не заметил. Он стоял среди каморы и рассеянно оглядывал ее. Наконец он спросил: "Нет его?"

– Да ведь он с вами пошел, Вавил Липатыч.

– Куда пошел? – строго допрашивал Линатыч.

– Да ведь вы в трактир пошли… вместе пошли… всегда вместе… Я уж и не знаю – как так вышло, что вы друг от друга отбились.

Липатыч опять что-то вспомнил, сошел с лестницы, но вдруг вернулся, вынул из кармана горсть подсолнечных семян, молча насыпал их в подолы ребятишкам и снова вышел на улицу. Подойдя к трактиру и заглянув, не входя, в дверь, он, наконец, казалось, все понял и уже уверенно, как к определенной цели, зашагал крупными шагами за заводскую округу. Чем дальше оставлял он за собой и невнятный гул, и говор заводской улицы, и песни, и визг гармоники и трактирных дверей, тем он начинал чувствовать спокойнее на душе и как будто приходить в себя: его не душило больше и не клокотало внутри. Он шел минут десять. За заводом скоро город кончился, и за небольшим выгоном уже начались поля: рожь, гречиха, горох… Кругом было так тихо, что Липатычу не верилось, что у него не шумит в ушах, не бьет в голову, не вертится все колесом пред глазами. Он остановился, посмотрел на ясное, беспредельное небо и вздохнул: "О, господи!.. Господи! – прошептал он. – Благодать!.." Ему стало почему-то грустно, но и хорошо. Потом он почему-то подумал: "Али умирать уж пора?.." И при этом он почувствовал, что там, на самой глубине души, что-то еще ныло и болело, за что-то было обидно… Он опять вспомнил, зачем пришел сюда, и стал кого-то внимательно высматривать. Вон вдали, среди самого поля, он заметил черную фигуру, неподвижно сидевшую в глубине межи. "Он самый!" – подумал Липатыч и, утвердительно мотнув своей лохматой седой головой, подошел к полям.

Между двумя полосами высокой золотистой ржи сидел на пригорке один-одинешенек Дема и задумчиво делал букетик из нарванных им васильков, ромашки и ржаных колосьев. Грубые и почерневшие от железной пыли пальцы плохо ладили с тонкими и нежными стеблями и лепестками. Но Дема, кажется, мало обращал на это внимания. Он иногда бросал в сторону сделанный букетик, срывал несколько новых колосьев ржи и начинал внимательно вглядываться в них, считать семена, пробовать их на язык. И в то же время он что-то мурлыкал себе под нос: это была какая-то длинная-длинная и бесконечно грустная мелодия, состоявшая даже не из слов, а из одних певучих звуков.

Липатыч подошел к Деме и тихо остановился возле него. Дема мельком взглянул на него и снова взялся за букетик, продолжая мурлыкать. Липатыч молча присел к нему и стал вертеть бумажную сигаретку.

– Я так и знал… Здесь, мол, он, беспременно, – наконец заметил Липатыч, не глядя на Дему и, по-видимому, весь занятый собственными мыслями.

Дема молчал.

– Беспременно! Я так и знал, – опять говорил Липатыч и уже начинал раздраженно сплевывать, затягиваясь крепким дымом махорки. – Да все одно – ахинея… Ничего не будет… Это вот ежели умирать пора – точно, места прекрасные… Пожалуйте, милости просим!.. И могилка свежая, и цветочки прорастут… В лучшем виде!..

– Что ж, Вавил Липатыч, я ведь, кажись, никому своим занятием не мешаю, – грустно заметил Дема, – на глаза не лезу… Стараюсь сторониться…

– Не мешаю!.. Не мешаешь – да не так рассуждаешь!.. Вот об чем я говорю, – строго и даже сурово сказал Липатыч.

– В чем же я не так рассуждаю?.. Только что насчет правды… Правду свою всякий должен говорить предо всеми. Запрещать это нельзя, и притом с кулаками!.. Надо быть справедливым, – в свою очередь возразил Дема в ответ на строгое поучение Липатыча, стараясь по возможности говорить резонистее и поучительнее.

– Заладил!..– раздраженно заметил Липатыч и сердито сплюнул. – Словно поп… ха!.. Право, словно поп, – повторил Липатыч и фыркнул в бороду: ему почему-то понравилось самому это сравнение Демы с попом.

Они оба замолчали. Дема все думал, что бы такое сказать, чтобы окончательно успокоить и себя, и Липатыча. И наконец, сказал то, что говорил всегда в затруднительных случаях.

– Я вам всегда говорил, Вавил Липатыч: оттого вы на меня осерчаетесь, что у вас – одно мечтание; а у меня – другое.

Но это замечание, по-видимому, не произвело теперь того впечатления на Липатыча, какое производило прежде. Дема искоса посмотрел на старого приятеля – и удивился. Липатыч, очевидно, совсем не слыхал, что сказал Дема: он сидел, нагнув седую большую голову над коленками, и до того смотрел грустно и раздумчиво в расстилавшуюся пред ним даль, что Дема почти не узнал Липатыча. Никогда еще не видал он его в такой "меланхолии", и Деме стало почему-то жалко старика, и вдруг он понял как будто, зачем это его старый приятель заговорил нынче так насмешливо о "могилке".

– Эх, брат, Демьян Петрович! – неожиданно заговорил Липатыч таким необычно мягким голосом, все посматривая перед собой вдаль, что Дема невольно, как будто ожидая чего-то необыкновенного, насторожился, стараясь не проронить ни одного слова своего приятеля. – Тоже, друг, говорят: правда!.. Видали и мы эту самую правду… Видали!.. Не обидел бог. Было у меня такое времечко в моей жизни… Тоже стар уж я, добрая ты душа, грешить-то зря али попусту языком болтать. Тоже слова-то они с языка не спуста идут… Гляди, не ноне-завтра в яму свалите… Было и у меня времечко. Давно уж это было, признаться… Ты еще тогда, поди, без штанов бегал… Эвона когда это!.. Тянул это я тогда лямку на немецком заводе, в Питере, по Шлиссельбургскому трахту… Ну, тяну эту лямку, как быть, по чести, умный ты человек, – а не то что… Тогда я, даром что моложе был, – куда был скромнее… Это уж я, умная ты голова, от старости озорую!.. А ты думал, я уж всегда был такой пропащий?.. Нет, погоди, друг… Так вот, служу я, значит, у этих немцев верой-правдой, жизнь свою для них покладаю и конца этому не чаю; только, леточком этак, помню, вдруг к нам в мастерскую гости!.. Добро пожаловать… Впереди дирехтор наш идет, значит, дорогу показывает, все объясняет, а за ним персона со звездой, а там еще персона, а за ними все юнцы – десятка два их было али три… Идут, работы рассматривают, инструменты, машины… Ну, глядят – как глядят, и шабаш!.. Поглядел и я на них, а потом думаю – чего нам в их!.. Их дело – глядеть, наше дело – статья особая… Забрал в руки напильник – только свист пошел за ушами!.. Глядь, кто-то меня по плечу трогает… Обернулся, а вокруг меня все гости стоят… Отер рукавом лоб, смотрю на них, – что дальше будет. "Молодец, – говорит один персона, – люблю таких!.. Эка, – говорит, – силища-то!.. Ну-ка, – говорит другому персоне, – ощупайте его!.. Жилы-то, жилы-то – проволока, – говорит!.. А это-кремень!.." А сам это меня пальцами то там, то в другом месте потычет. Ну, думаю себе, – что-то будет с тобой, Липатыч!.. Как бы тебя на конную площадь в продажу к барышникам не пустили!.. А персона тут и говорит нашему директору: "Отдайте, – говорит, – его нам… Мы, – говорит, – его на выставку выставим!" Смеется. Дирехтор говорит: "С удовольствием!.." И раскланивается… Ему что я!.. Конечно, с нашим удовольствием, хоть в омут головой спущай… "Ну, хочешь, – говорит, – братец, к нам в техническую школу?.. Вот ты будешь работать, а наши молодцы эти будут смотреть на тебя да к делу приучаться. Жалованья, – говорит, – тебе будет столько-то, работы столько-то…" Говорит он, а у меня пред глазами ровно уж мухи летают… Ну, – думаю, – должно, создатель с небеси на меня своим оком воззрил… Эко, подумаешь, на человека счастье сдуру нанесло… Ну, и пожил я тогда, умный ты человек!.. Было времячко и у нас!.. Было!.. Что!.. Сам себе хозяин, сам себе работник!.. Встанешь утром с прохладой, пойдешь в мастерские, материал, струмент изготовишь… Сам это, братец, в чистой блузе ходишь… Сапоги глянцем наведешь… Рыло-то с мылом вымоешь… Ну, а там, глядишь, – налетит к тебе в мастерские молодая команда… Шу-шу!.. Зажужжит, что улей… Молодо все, весело… Все барчуки… Неделя прошла, а уж все со мной ровно век прожили… Один кричит: Липатыч! мне бы то, пожалуйста… другой: Вавило Липатыч, будьте добренькие, мне бы это показать: как тут да как там… Ну, а ты, значит, этак держишь себя строго, в ноте, – тому покажешь, другому… Объяснишь все, обстоятельно… Полюбил, друг мой, я эту молодягу, ну, вот ровно своих племяшей… Такая у нас дружба пошла… А вечером, коли главный наставник уйдет, побросают инструменты, заберутся кучкой в угол, на станках, на чурбанах усядутся, и тут-то пойдут беседы!.. Меня притащут, посередь себя посадят… Про наше житье заставят рассказы говорить… И пойдут кто что знает!.. "Эх, господа, – закричит какой ни то кудряш, – кабы вот рабочего человека так-то устроить… по божьему!.." А другой кричит: "Кабы вот и мужичку деревенскому такое ж одолжение насчет жизни сделать?.." А третий расскажет, как по другим странам наш рабочий человек живет… И все так любовно… Все чтобы так доброе сделать трудящемуся, значит, человеку… Помню, один такой кудряш был… Говорит, – у мово, – говорит, – дяденьки фабрика; умрет – мне достанется… Я, – говорит, – первым делом по любви… Окликну, – говорит, – рабочих: вот, мол, братцы, так и так, по любви будем жить… Я пред вами весь начистоту буду… Обо всем сообща будем договариваться. Я в чем прошибусь – вы поправите; вы в чем недомекаете – я укажу… Говорит, а у самого глаза так и играют… Известно – вьюнош!.. А тут, глядь, кто ни то песню затянет… Одним махом подхватят, так ровно к небесам и вынесут!.. Голоса молодые, воздуху забирают в полную волю!.. Да, было времячко, Демьян Петрович, и у меня… Есть чем вспомнить… Да! Пожил Липатыч часок!.. Ну, и за то спасибо… Благодарим покорно!.. Так ли?

И Липатыч как-то особенно выразительно высморкался на сторону – и замолчал. Он ждал, может быть, что скажет Дема. Но Дема словно застыл, уставив глаза в землю, как будто рассказ Липатыча убаюкал его до сонных грез.

– Ну и что ж после того? – спросил Липатыч и долго смотрел на Дему. Но Дема не шелохнулся.

– Измена!..– выразительно сказал Липатыч.

– Слышь, Демьян Петрович, что я говорю: из-ме-е-на-а! – строго и отчетливо выговорил Липатыч. – И что всему начало и причина – немец… Вот что я говорю… Ты теперь пойми!..

Дема зашевелился. Очевидно, он готовился что-то наконец сказать.

– Что ж, Вавило Липатыч, – почему ж немец?.. Разве измена без немца быть не может, – сказал он.

– Где эти юнцы?.. Ты мне скажи – где они? – строго спросил Липатыч.

– Выросли, надо быть…

– Где ж они рощеные-то?

– Вы, Вавило Липатыч, не огорчайтесь очень, – мягко заметил Дема. – Где ж им быть?.. Знамо, они не немцы, а наши… барчуки… Проживают где ни то, потому они по мастерским или где около простого рабочего… черной работой заниматься не станут… А живут где ни то, по-благородному… Может, по заграницам.

Вдруг Липатыч поднялся и, нагнувшись к самому уху Демы, сказал каким-то тяжелым удрученным шепотом:

– Вот тут и есть… измена!.. Это он самый их деньгой обошел!.. Отшиб – прямое дело!..

Дема сомнительно покачал головой.

– Ну? что еще? – сурово прикрикнул на него Липатыч, выпрямляясь во весь рост. Дема опасливо взглянул на него: пред ним снова стоял прежний Липатыч, тот "озорной старик", которого знал и по-своему любил весь завод.

– Вот, Вавил Липатыч, – заметил Дема так же сурово, – вы вот все на стороне вину ищете… А я говорю: надо быть справедливым… особливо старому человеку…

Липатыч сурово посверкал на Дему своими черными глазами, плюнул – и, засунув руки в карманы штанов, сердито посвистывая, гордым гоголем пошел к заводу.

Дема только грустно покачал головой и остался. Он любил и очень уважал Липатыча, но он никак не мог, по мягкости и рассудительности своей натуры, переносить резкий, нетерпимый тон, который в последнее время все больше и больше прорывался у Липатыча, – а потому часто на него обижался. Дема знал Липатыча давно, слышал, как он ругает ругательски "немцев", и сначала просто не понимал, почему это Липатыч распалялся всегда такой к ним ненавистью. На заводе, на котором служили он и Липатыч, было и прежде и теперь всякое начальство: были и немцы (точно, что их было немало), и поляки, и евреи, и англичане (ну, положим, что и это все "немцы"), но были и самые настоящие, свойские русаки. Вот и теперь у них смотритель мастерской – самый коренной русак, и зовут его Псой Псоич (шельма он – точно и выбрался в начальство всеми правдами-неправдами). Очевидно, Липатыч был несправедлив и разносил только немцев единственно по своему озорству и крайней нетерпимости; когда же ему указывали на Псоя и спрашивали, какой он будет нации, – он с обычной своей озорной резкостью говорил: "Какой Псой нации? Пес он – вот какой нации!.." Дема так и не мог понять озлобления Липатыча против немцев и приписывал его исключительно "озорству".

И вот теперь, когда Липатыч так оскорбительно оставил Дему одного, – он, однако, не обиделся: он вспомнил и признание Липатыча, и его необычно мягкий тон, каким он вспоминал о своем прошлом, и его замечание о "могилке", и чем больше он думал об этом, тем грустнее и больнее становилось у него на душе; ему стало жалко и "старого служаку" Липатыча, и себя самого, и многих-многих других, – жалко и вместе обидно за что-то… На него как будто вдруг повеяло общим холодом жизни, тем холодом, который раньше он смутно ощущал в себе и думал, что это только ему "холодно", и от которого бежал он в свои "мечтания" среди полей, стыдливо скрывая их от шумной сутолоки заводской жизни.

– Ах, Липатыч, Липатыч, – прибавил он, так же загадочно и уныло покачав головой. Дема поднялся и медленно, раздумывая, пошел домой. Он вдруг открыл в Липатыче что-то, чего прежде не знал и не понимал.

**III**

Это случилось спустя месяц после "дружеского признания" Липатыча. Все заметили, что с Липатычем творится что-то необычное. Липатыч перестал совершенно кстати и некстати разносить "немцев". Липатыч сделался сразу как-то мягче, добродушнее и вместе с тем таинственнее; Липатыч не только не стрелял теперь сурово и вызывающе направо и налево своими черными глазами, но – напротив – весело всем улыбался ими и как будто каждому, на кого смотрел, загадочно подмигивал. Рабочим своей мастерской, поочередно, он уже успел неясно и туманно намекнуть на что-то, что сулило им в ближайшем будущем неизреченные блага. Дело было в том, что Псоя наконец совсем "порешили", и мастерская ждала назначения нового начальника. Завод был заинтересован. И только Юрка с некоторыми другими заводскими скептиками позволял себе по-прежнему сомневаться в значении таинственных подмигиваний Липатыча; но это всего единственный раз нарушило добродушное настроение Липатыча и вызвало в нем взрыв старого "озорства".

– Кто же он это будет? этот самый незнакомец? – спросил как-то опять в трактире неугомонный Юрка Липатыча, – стало быть, из русачков, не из немцев?

– Не из немцев, брат! А из наших… из самых, из настоящих, – таинственно подмигивая, сказал Липатыч.

– Та-ак-с!.. Какие же такие у них будут особые прелести?.. Все мы вот ждем от вас, что разъясните в точности, а замест того – только один туман…

– Дурак!..– проворчал сквозь зубы Липатыч. Он начинал волноваться.

– Это они-то-с… Ну, не велики прелести! – издевался Юрка, поощряемый обычным хохотом трактира.

Липатычу не хотелось объясняться с Юркой, а тем меньше открывать ему что-нибудь из того таинственного сокровища, которое полжизни носил он в своей груди. Но ему, однако, хотелось сразу убить Юрку одним словом. Он долго и пристально смотрел на него.

– Прелести какие – говоришь? – спросил он с расстановкой и отчетливо, – Душа-а!..

– Хо-хо! – залился Юрка. – Ну, нынче эта штучка по дешевым ценам ходит!..

И едва раздался новый взрыв поощрительного хохота, как Липатыч оглушительно закричал: "Убью!.. Посмей кто еще насмеяться!.."

Он, действительно, был страшен с своими сверкающими темными глазами, над которыми совершенно сошлись в одну сплошную крышу его густые седоватые брови. Смутился не только Юрка, но и весь трактир. Но, кажется, смутился теперь своего "озорства" и сам Липатыч: он сердито положил свой блин на мохнатую голову и ушел.

Дема, сидевший тоже в трактире, уже не думал теперь возражать Липатычу обычными благоразумными наставлениями. Но некоторые сомнения были и у него, и, придя домой, он осторожно заметил Липатычу, не ошибается ли он насчет своих предположений.

– Ну, вот еще!.. Не знают, что ли?.. Все узнал… Бутенко… Из тех самых, – уверенно отвечал Липатыч…

– Стало быть, немец? – еще более осторожно осмелился заметить Дема.

– Как немец?.. Никакого тут немца нет…

– Бу-те-нко… стало быть… Ну, стало быть, немец… или другой какой нации, – сомневался Дема.

– Говорю – человек… настоящий!.. Какого черта лысого еще тебе надо? – закричал Липатыч. – Нация!.. Никакой тут нации нет… Человек настоящий – и шабаш!..

После такого доказательства, сопровождаемого ударом кулака по столу, Деме ничего больше не оставалось, как терпеливо ждать событий.

Но не так терпеливо ждал этих "событий" Липатыч. От кого узнал Липатыч о назначении нового начальника – осталось для всех тайной; хотя очевидно было, что это стоило ему немало трудов и ухищрений. Но ни для кого не было тайной, что последние два дня, после работ, Липатыч аккуратно, даже не поужинав хорошенько, отправлялся в ту часть завода, где жило начальство, и долго ходил мимо того дома, в котором, как предполагалось, должен был поселиться новый начальник. Липатыч упорно смотрел в темные окна, ожидая того счастливого момента, когда наконец мелькнет в них свет. Так он ждал два вечера. Наконец "событие" совершилось. На третий день показалось несколько извозчичьих дрожек, которые подъехали разом к пустой квартире: на первых ехала прислуга с багажом; на вторых – барыня с двоими детьми; на третьих – жидкая, неказистая фигура, сгорбившаяся, в каком-то странном картузе с необыкновенно большим козырем вроде подзора над крыльцом. Липатыч так и впился в нее глазами, скрываясь за фонарным столбом. "Должно, и точно он!" – думал Липатыч еще с некоторым сомнением, переходя на противоположную сторону и устремив свой упорный взгляд на окна. Вот наконец и он – давно жданный свет. Окна мало-помалу освещались; в комнатах замелькали тени. Вот резко вырисовалась в окне высокая сухая фигура, с худым длинным лицом и длинной узкой бородой. Для Липатыча, очевидно, этого было достаточно. Он весело поправил на своей львиной лохматке блин и быстро пошел к своей квартире. Он был доволен и приветливо улыбался самому себе. "Он! – уверенно твердил Липатыч. – Самый… настоящий он… Я уж сразу узнаю, хоть с того света приди… Совсем тогда еще юнец был, а теперь, вишь ты, хозяйка, детки… Как быть, по порядку… Ну, конечно, пригляднее это, веселее для жизни!" – думал Липатыч, и редко знакомое ему чувство нежности наполняло его грудь. Липатыч не замечал, как он шел все скорее, и когда отворил дверь и увидал вопросительный взгляд Демы, он не удержался и торжественно крикнул: "Он!"

Зато с следующего утра Липатыч вдруг "замер", весь спрятался в себя, что-то глубоко затаил на дне своей души и молча, не проронив ни одного слова, не сверкнув ни на кого своим черным глазом, упорно работал за своим станком. По-видимому, он ничего не видал и не слыхал, но внутренне он весь жил одним напряженным ожиданием, и для него не пропадал ни один звук. Пробило десять часов – и худая, высокая, сутуловатая фигура нового начальника показалась в мастерской. Чувствовалось, что все работали дружнее, энергичнее, двигались быстрее и оживленнее, искоса и как бы мимоходом стараясь заглянуть в лицо начальника. Один Липатыч не шевельнулся, не взглянул на сторону от станка, как будто для него не было уже ничего важнее в мире того куска стали, над которым он возился: он – замер.

Между тем г. Бутенко, в кургузом пиджачке, как-то странно спотыкаясь длинными ногами в узких серых брючках, из-под которых несоразмерно выступали огромные острые носки штиблет, быстро прошел вдоль всей мастерской, направляясь, по указанию старшего мастера, в свою рабочую комнату. Хотя лицо его с длинным носом, продолговатое и смуглое, казалось суровым, но серые мягкие глаза так робко прятались за дымчатыми консервами и так боязливо старались избегать чьих-либо взглядов, что вся его персона производила какое-то неопределенное, двойственное впечатление. И когда он, сгорбившись, словно юркнул в дверь своей комнаты, Юрка никак не смог не крикнуть: "Усь!" – фыркнул на всю мастерскую, и тотчас же, спохватившись, взглянул на Липатыча. Но Липатыч не повел даже бровью… И с тех пор г. Бутенко был окрещен вновь, и мастерская единодушно признала за ним новое прозвище: он стал не г. Бутенко, а "Гусь"… Таковы нравы Юрки и его закадычных товарищей.

"Событие", о котором заставил Липатыч смутно мечтать и думать весь завод, совершилось, и осталось теперь одно – ждать "поступков". Липатыч, под видимым хладнокровием и суровой молчаливостью, внутренно был взволнован и переживал тяжелое душевное напряжение. Чтобы избежать излишних разговоров и даже просто пытливых взглядов со стороны Демы, Липатыч теперь и обедал, и ужинал урывом, наскоро и тотчас уходил из квартиры на улицу, на завод… Липатыч напряженно и терпеливо ждал "поступков", но поступков никаких не было.

Проходили дни – и жизнь мастерской шла обычным, заведенным порядком, как будто решительно ничего не случилось, кроме самой невидной и не редкой смены начальников, из которых каждый до того был похож один на другого, что Юрка даже затруднялся придумывать новые клички. Господин Бутенко по-прежнему, аккуратно, каждый день, четыре раза пробегал, спотыкаясь длинными ногами, через мастерскую в свой кабинет и обратно, вызывая молчаливое недоумение рабочих. Может быть, он все еще принимает мастерскую с ее запутанными счетами от Псоя? Может быть, так как назначать и принимать работы продолжал по-прежнему старший мастер. Господин Бутенко был неуловим – и это начинало, по-видимому, тревожить рабочих, и только когда, по поводу каких-то недоразумений с мастером, некоторым из рабочих пришлось являться к нему в кабинет, – все узнали, что он сух, холоден, неразговорчив и робок и что он никогда не смотрит в лицо рабочего, а либо в стол, либо на сторону. Это было первым открытием, которое несколько задело за живое всю мастерскую. Но вместе с тем было сделано и второе открытие: когда мастерскую посетило самое набольшее начальство, г. Бутенко был с ним также сух, холоден, молчалив и… робок. Но больше никаких "поступков" не было. Так прошла неделя. Очевидно, терпеть Юрке дальше было невозможно, – и вот однажды, когда г. Бутенко проскользнул, "как ящера", по словам Юрки, через мастерскую, торопясь обедать, в мастерской громко раздалось раздраженное восклицание: "Ну, погоди, гусь лапчатый. Я тебя выведу на свежую воду… Ты у меня заговоришь!"

Это говорил Юрка, внушительно поглядывая на Липатыча, – и поощрительный гул пронесся по всей мастерской. В груди Липатыча что-то заныло, "подкатило", кровь бросилась ему в голову. Но теперь он не только не закричал на Юрку, – он не взглянул на него: Липатыч его боялся.

После обеда старший мастер некоторым из рабочих назначал новые работы; в том числе был Юрка.

– Ступай, отнеси в кузницу, а я этой пакостью заниматься не намерен, – сказал отчетливо Юрка и бросил под станок стальную кувалду, которую мастер назначал ему для обработки.

Мастер искоса и подозрительно взглянул на него.

– Ну, мне что ж! – равнодушно сказал мастер. – Это не мое дело… Это он назначил…

Мастер махнул рукой и отвернулся от Юрки.

– Он? – спросил Юрка, в то время как его маленькие глазки сверкали раздраженно и вместе насмешливо, вызывающе. – Ну, поди и скажи ему, что здесь не ученики… Здесь мастера… Ежели он этого до сих пор не знает… Скажи ему!..

Мастер, не оборачиваясь, опять повел искоса на Юрку глазами и медленно прошел дальше.

В мастерской говор смолк и слышался только визг и грохот инструментов. Мастерская напряженно ждала "поступков". Юрка от нечего делать чистил свой станок и посвистывал и от времени до времени возбужденно поглядывал на Липатыча. Но Липатыч не поднимал глаз.

Прошло полчаса, когда послышался мягкий стук штиблет, которые рабочие прозвали "немецкими". Господин Бутенко, в сопровождении старшего мастера, подошел к Юрке.

– Мною назначена работа… Отчего не исполняют? – спросил, не повышая тона, г. Бутенко, останавливаясь против Юрки, но обратив свои серые, устало добродушные глаза на закоптелые окна мастерской. В руках он держал свернутую в трубку бумагу, и тонкие пальцы нервно постукивали по ней.

– Я не кузнец… Я мастер… по чистой работе, – отвечал Юрка, но почему-то сгустив голос до басовой октавы и смотря исподлобья, боком.

– Я этого не знаю… Я знаю, что мастерская должна исполнять назначенную работу, – говорил г. Бутенко, переводя глаза с окна на стены и еще нервнее барабаня по свертку пальцами.

– Я тоже не знаю, – грубил Юрка, – мое дело чистое… Я на всякой дряни измождать себя не намерен…

– Запишите штраф, – сказал г. Бутенко старшему мастеру, стараясь избежать его взгляда. – Если он и после того не возьмет работу, – запишите двойной… Если он…

– Здесь таких нравов нет… чтобы издеваться!.. Здесь не каторжные работы, – крикнул Юрка, отходя к двери. – Сначала бы надоть людей узнать, а не поверх очков глазами гулять!.. Мы живые, а не чугунные…

Господин Бутенко как будто ничего не слыхал, повернулся и, спотыкаясь, направился в свой кабинет.

В мастерской никто не сказал ни слова. Все чувствовали, что дело еще не решено и "настоящие поступки" еще впереди.

День уже приходил к концу. Работы заканчивались нынче, по случаю субботы, раньше. Все спешило покончить с протекшей неделей. Что делал в это время в своей рабочей комнате г. Бутенко – никто не знал, но, по-видимому, н он решил свести итоги своей недели.

Минут за десять до окончания работ в мастерской снова показался г. Бутенко. Он остановился около одного станка и что-то сказал старшему мастеру. Рабочие прекратили работу – и все смолкло.

– Я вынужден объясниться… Я надеялся, что это не будет нужно, – заговорил г. Бутенко тихим, слабым и прерывающимся голосом, по-прежнему ни на кого не смотря, опустив глаза на свои тонкие белые руки, которыми он, как и прежде, нервно барабанил по стальному колесу станка. – Я надеялся, что это не будет нужно… Но я, как и думал, ошибся… Как предполагал, к сожалению… И вот я вынужден сказать, что я не допущу… всего этого… не могу потерпеть… Я – честный и деликатный человек; я хочу, чтобы и мое дело сделано было честно и мои подчиненные были честны и деликатны… Я привык к этому… И не хочу учиться поступать по-другому.

Господин Бутенко становился все нервнее, и если бы слушатели были хотя сколько-нибудь расположены понимать его, они почувствовали бы, как дрожал его подбородок, когда он говорил, и сколько нравственных усилий стоила ему эта речь. Он заикался и не находил слов.

– Я думал… Я надеялся, так как я сам никого никогда не желал бы обидеть грубым словом… Но я увидал, к сожалению, кругом себя распущенность во всем – вот школа нашего рабочего. Это погибель для вас самих… Я не могу потерпеть… Я честно должен исполнить свои долг перед компанией, вы – передо мной… Да, честно, – повторил г. Бутенко и тяжело перевел дух, как будто собираясь с последними силами. – Пора, пора нам очнуться – и не купаться в грязи, а высоко поднять свое дело!.. Все, что этому будет мешать – вон, вон, как сорную траву… Мастерская – не богадельня и… не кабак… А я вижу – кабак!.. Это сделали вы сами, ваши здешние порядки и мои предшественники. Я буду точен и строг… Кто не хочет – пусть уходит… Мы найдем других. Другие не захотят – третьих, но у нас будет истинная мастерская, честно исполняющая свой долг, – а не кабак!.. И на первый раз я увольняю вот этого господина, – указал он на Юрку.

– Бессты-ыдник! – вдруг сдержанно раздалось среди общего молчания.

– Что это… Что это такое? – также сдержанно, пересиливая себя, спросил г. Бутенко, взглянув на ряды рабочих.

Все молчали.

– Вы делаете вызов, – проговорил г. Бутенко дрожащими губами. – Будем бороться!.. Будем…

– Бессты-ыдни-ик! – пронеслось уже явственно над всей мастерской.

– Старший! Запишите и оштрафуйте… Вы знаете сами кого… Я не хочу знать личностей, – почти прошептал г. Бутенко побледневшими, как мел, губами.

– Бессты-ыдник! – загремело уже под высокими сводами мастерской, и Липатыч, с сверкающими темными глазами, горевшими огнем обманутой, любимой мечты, боком выдвинулся из толпы мастеровых.

– Старший, старший!..– почти истерически выкрикнул г. Бутенко, увидав страшное и возбужденное лицо Липатыча. – Уведите отсюда вон… вон… навсегда… возьмите от меня этого дикого, злого старика!..

– Уморить меня хочешь… как собаку, на улице? На, коли… на, возьми!.. на память… от старика!..

Липатыч быстро разорвал ворот рубахи и, сняв со шнурка медный крест, протянул его к г. Бутенко.

Кровь бросилась в лицо г. Бутенко. Он быстро и смущенно отвернулся и, спотыкаясь еще более, чем обыкновенно, вернулся в свой кабинет.

Рабочие помолчали минуту, как пораженные столбняком, но тут кто-то сказал: "Ну, гусь лапчатый!" Мастеровые ахнули и с громким шумом и говором почти выбежали из мастерской.

Между тем из кабинета раздался тревожный звонок. Старший мастер бросился туда. Там в кресле сидел весь разбитый, как параличом, г. Бутенко, бледный, и прерывисто истерически дышал.

– Дайте… мне… воды… – чуть слышно прошептал он.

**IV**

Липатыч исчез. Прошло два дня, а его никто не видел ни в мастерской, ни в заводе. Липатыч был настолько свой человек в заводе, что его исчезновение заметили все сразу и это вызвало даже невероятные слухи. Говорили за достоверное, что Липатыч покончил с собой. На этом особенно настаивал Юрка, который теперь истыми днями болтался по трактирам и портерным. "Конечно, прикончился!.. Чего ж больше нашему брату надоть? Вот тебе за тридцать пять лет – пенсия, получай квитанцию! – говорил он обыкновенно зло и раздраженно, – До смертоубийства – прямое дело!.. Теперь у нас это разлюбезным манером приспособлено: прилег эдак к рельсу удалой головой – и прощайте, братцы-товарищи, до радостного утра!"

Один Дема не совсем доверял этим слухам, тем не менее он был неспокоен. Пользуясь всяким свободным часом, он уходил из дому и бродил по окрестностям, надеясь встретить Липатыча, один раз он как будто приметил его бродившим по тем самым полям, где они когда-то с ним беседовали. А затем Липатыч опять пропал из глаз. Придя домой, Дема часто сидел по целым часам и думал, думал медленно, упорно, напряженно… Когда он работал в мастерской, ему очень хотелось повнимательнее присмотреться к начальнику, но Бутенко являлся теперь в мастерскую на очень короткое время; все говорили, что Бутенко нездоров. Дема прислушивался теперь ко всему, что только говорили о Бутенко. Однажды, когда Бутенко совсем не пришел после обеда в мастерскую, Дема вечером, потихоньку, отправился к дому, где он жил, долго заглядывал в окна его квартиры и, присев у ворот на скамеечку, долго беседовал с дворником и кухаркой Бутенко. В его душе зрели и боролись какие-то совершенно новые для него мысли и ощущения, непонятные и противоречивые, зрели медленно, мучительно и не давали ему покоя.

На третий день вечером Липатыч вдруг "объявился". Дема был уже дома, когда Липатыч вошел своим обычным тяжелым и размашистым шагом.

– Входи, входи, не бойся!..– сказал он кому-то, и вслед за ним робко вошла в дверь жалкая фигура в резиновых опорках с цилиндром в руке; она вела за руку другую, еще более несчастную и жалкую фигурку – маленькую девочку, в старенькой шляпке, бумазейной коротенькой юбочке и больших старых мужских штиблетах.

– Вот и пришел, – сказал Липатыч. – Поди, думали, пропал Липатыч?.. Липатыч не пропадет!.. Это все одно, что с похмелья: погуляешь денек, продует свежим ветерком – всю дурь из головы вышибет!..

Липатыч, очевидно, старался казаться хладнокровнее и развязнее, но Дема смотрел на него подозрительно и опасливо.

– Вот, немца нашел, – продолжал Липатыч, ставя на стол бутылку с водкой. – Зашел в трактир, а он ко мне: раскланивается, словно чиновник!.. Позвольте, – говорит, – мусью, пожать вашу руку… Вы карош человек… Я вас, – говорит, – понимаю…

– О, ja, ja!.. Вы честна душа… Я вас теперь понимайт, – заговорила жалкая фигура, улыбаясь всей своей широкой красноватой физиономией.

– Ну, – говорю, – коли понимаешь, так пойдем со мной на квартиру ужинать, к приятелю… Ну, немец, садись и девчонку сажай.

– О, мы вас понимайт!..– говорил немец, робко присаживаясь на краешек стула и поместив между своими ногами маленькую фигурку и свой большой цилиндр. – Мы вас понимайт… Мы тоже был балшой механикер… О, ja!.. Балшой механикер… Большая служба служил… сорок лет служил…

– А теперь с голоду дохнешь? – сурово спросил Липатыч.

– О, ja… Много труда, много служба и много несчастлив… Бог один справедлив!..

– А девку зачем с собой таскаешь?.. Чья она?

– О, мне бог посылайт эту маленькую Антигон… и маленький канарейка… Мы поем, и бог нам дает пища… Бог справедлив!..

– Ну, коли так – ешь, немец!.. А потом… будем писать! – сказал Липатыч и раздраженно двинул немцу стакан водки и закуску.

Дема все подозрительнее и подозрительнее смотрел на Липатыча; он чувствовал, что хладнокровие и спокойствие Липатыча были напускные и что в душе его, очевидно, созрела какая-то мысль, которую он бесповоротно решил осуществить.

– А потом будем писать! – повторил Липатыч и вынул из кармана своего старого пальто бумагу и карандаш. – Говоришь, грамоту знаешь?

– Чего писайт?..– спросил немец и с грустным сомнением покачал головой…

– Как что?.. Обо всем будем писать… Все изложим, до последнего… Мы им покажем!.. Мы с тобой сами пойдем, самолично… Вот, мол, мы – смотри!..

– Куда будем ходить?..

– Правду искать, немец, правду искать!.. Немец опять жалостно покачал головой.

– Мы это не знайт… Мы сам себе помогайт… У нас там ферейн… Здесь нет ферейн…

– Сам помогай! Ты вот сначала полюби человека, по душе. В харю-то ты ему не плюй, на съезжей-то не пори![[3]](http://profilib.com/chtenie/135613/nikolay-zlatovratskiy-mechtateli-7.php#n3) Вот как сначала-то!.. Ничего ты, немец, в наших делах не понимаешь… так слушай, что тебе говорят… У нас, в нашей России, этого не было, чтобы люди с голоду умирали… Это, брат, шалишь!.. Мы, брат, ее разыщем, правду-матку! Со дна моря найдем!.. Я тебе говорю – пиши, завтра мы с тобой и в дорогу!.. Мы, брат, и до Питера дойдем… Со мной не бойся!..

– О, господин механикер, мой очень плохо писайт по-русски!..

– Ничего!.. Было бы написано, а там разберут… Хитрости не велики… Пиши!..

Немец, видимо, совсем упал духом и почти умоляюще посмотрел сначала на Липатыча, потом на Дему.

– Не бойся, ничего не бойся… Я тебе говорю: найдем правду!.. Пиши!..– строго и решительно повторил Липатыч.

Вдруг Дема, сидевший все время в стороне, по обыкновению, тяжело поднялся, напружился и, весь покраснев, как всегда, когда он должен был сказать что-нибудь важное, проговорил, дотрагиваясь до плеча Липатыча:

– Вавил Липатыч!..

– Ну, что еще? – сурово спросил Липатыч.

– Оставьте это… – отчетливо выговорил Дема. Липатыч взглянул в глаза Деме: он смотрел на него твердо и решительно.

– Оставьте это… Время будет, – повторил он.

И к удивлению и немца, и самого Демы, Липатыч ничего не возразил. Может быть, во взгляде Демы, таком ясном, твердом и решительном, он уловил проблеск той надежды, которая еще продолжала смутно жить в его душе.

**V**

Назавтра был праздник. В маленькой каморке Демы, разделенной на две половины ситцевою занавеской, за которой помещалась печь и ютились его жена и дети, происходило нынче что-то не совсем обычное. Как раньше Дема подозрительно следил за Липатычем, так сегодня Липатыч, исподлобья и молча, подозрительно наблюдал за Демой, выкуривая сигаретку за сигареткой. Прежде всего его поразили уже то, что Дема нынче особенно долго и тщательно отмывал мылом с лица и рук насевшую за неделю стальную пыль; потом он потребовал от жены вынуть из сундука единственную манишку, существовавшую исключительно для очень важных случаев, вычистил особенно усердно свой "парадный" пиджак и, наконец, особенно долго и внимательно чесался пред маленьким тусклым зеркалом. Притом все это он делал до такой степени серьезно и вдумчиво, что жена, дети да и сам Липатыч боялись и не решались заговорить с ним.

Одевшись совсем по-парадному и надев новый картуз, Дема коротко сказал, что пойдет к обедне, и вышел. Липатычем овладело беспокойство; он хотел было выйти вслед за Демой, но подумал, швырнул свой блин на окно и остался.

Обедня отошла, и Дема торжественно и тихо вышел из церкви. Но домой он не пошел, а так же медленно и торжественно двинулся по направлению к квартире Бутенко. Подойдя к дому, он сначала заглянул в окна, постоял около парадного крыльца и затем прошел уже во двор, где отыскал дворника и спросил его тихо: "Дома сам-то?" – "Дома, надо быть". – "Здоров?" – "Надо быть, здоров. А что?" – "Здоров, ну и слава богу… А то как бы беспокойства не сделать". Собрав все эти предварительные сведения, Дема, наконец, прошел через задний ход на кухню. Здесь он снова, тихо и деликатно, "чтобы как-нибудь не побеспокоить", повторил прислуге те же самые вопросы, какие предлагал дворнику, и затем попросил доложить, "что, мол, слесарь из ихней мастерской желал бы самолично их видеть".

Минут через десять из двери, ведущей из комнаты в кухню, выглянули из-за очков подозрительно робкие глаза Бутенко.

– Что надо? – тихо спросил он, не входя в кухню.

Дема замялся.

– Желали бы переговорить… самолично, – сказал он.

Бутенко еще более робко и вместе подозрительно окинул взглядом Дему, но Дема с совершенно спокойной серьезностью выдержал этот взгляд…

Бутенко скрылся, и затем, через минуту, раздалось из-за дверей: "Войдите!"

Дема прошел через кухню в коридор и в отворенную дверь увидал Бутенко, сидевшего в своем кабинете. Он остановился в дверях.

– Что скажешь? – тихо спросил Бутенко, сидя боком к Деме, не оборачиваясь и не смотря на него; опустив вниз глаза, он вертел портсигар в своих тонких, хрупких пальцах, которые слегка дрожали.

– Насчет старичка, стало быть… Уволить изволили вы старичка, Вавилу Липатыча… А он, стало быть, заслуженный старичок… Так вот, стало быть, насчет его, – проговорил Дема, заминаясь, едва находя слова и в то же время желая как можно деликатнее разъяснить Бутенко дело, боясь, как бы не сказать какого-нибудь обидного слова.

Бутенко поморщился, и по лицу его пробежала тень болезненного раздражения.

– Вы не извольте беспокоиться, – тотчас сказал Дема, заметив это выражение на лице Бутенко. – Мы не то чтобы вас беспокоить али просить о чем…

– Так чего же вы хотите? – как-то досадливо-недоумевающе спросил Бутенко, подняв тусклые глаза на Дему. Дема кашлянул тихонько в руку и осторожно приблизился к Бутенко.

– Вы изволили, стало быть, уволить старичка… за озорство, – заговорил он, совсем понизив голос и нагибаясь туловищем почти к самому уху Бутенко. – А он, стало быть, Вавила Липатыч-то… Любит он вас!.. Да… Как любит-то, господин!.. Как отец, стало быть, родитель свою дитю малаго – вот как!

И Дема употребил все усилия, чтобы сказать эти слова как только можно нежнее, и при этом обычная грустная улыбка появилась на его лице.

Бутенко удивленно вскинул глазами на Дему и внимательно смотрел на него, как будто стараясь прочесть на его лице таинственный смысл непонятных слов.

– Что же вы об этом знаете? – наконец спросил он.

Дема весело улыбнулся и снова кашлянул в ладонь.

– Вот изволите видеть, с месяц эдак тому… вышли мы, стало быть, с этим старичком в поле… разгуляться, стало быть, – начал было Дема и остановился: он не знал, как и с чего начать.

Дема никак не ожидал, чтобы было так трудно передать все то, что он так глубоко и ясно чувствовал в своей душе. Дема, как и всегда в таких случаях, – напружился, покраснел, взглянул беспомощно в окно – и вдруг ему представилось так ясно и золотистое поле, и цветы, и он сам с своими "мечтаниями" с львиной седой головой, и все, все это стало пред ним, как живое, как будто происходило сейчас, тут, перед ним, и Дема заговорил свободно, просто, заговорил о каких-то "могилках", о полях, о своей деревне, потом опять о "могилках" и о Липатыче, о "немцах", об озорстве Липатыча и о том, как он любил и баловал его ребятишек, и о том, как мягко и нежно мог говорить иногда Липатыч о своих "мечтаниях", и, наконец, опять о немцах, и об "юнцах", и о том, как Липатыч караулил приезд его, Бутенко, и даже о том, как он, Дема, советовал Липатычу быть справедливым.

Дема говорил и смотрел на Бутенко такими добродушно улыбающимися глазами, как будто для него не было ни малейшего сомнения, что Бутенко чувствует и понимает всю эту странную пеструю панораму, которую развертывал он пред ним, как чувствует и понимает он ее сам.

А Бутенко сидел, не говоря ни слова, опустив голову и нервно перебирая дрожащими пальцами часовую цепочку.

Дема, наконец, остановился, подозрительно взглянул на Бутенко и опять кашлянул в руку.

– Стало быть, – начал было Дема.

Вдруг Бутенко вскочил и, нервно дрожа, начал быстро ходить по комнате.

– Что ж от меня хотят? Я… я ничего не понимаю, – заговорил он, стараясь не глядеть на Дему, – Это, это все… какой-то сумбур…

– Стало быть, только насчет этого старичка, – робко отступая к двери, проговорил Дема. – То ись, стало быть, полюбовнее бы…

– Я ничего не понимаю… Что – такое делается? Что вы говорите?.. Я… я, наконец, поймите, ничего не могу… Что я могу сделать?.. Оставьте меня с этим стариком!..

– Стало быть, этого старичка… не вспоминаете?

– Какого старичка? Что такое? – нервно вскрикнул Бутенко, как будто его хотят лишить жизни. – Поймите… мы должны исполнять свой долг… каждый… честно исполнять… А это что такое?.. Вы губите себя, губите меня… Это – одна распущенность… Это… это не даст жить спокойно ни вам ни мне никому… Это бог знает что такое!.. Все мы… понимаете?.. все мы должны…

Бутенко заикался, заминался, не находил слов. Дема смотрел во все глаза на Бутенко и, казалось, так же мало понимал его речи, как мало понял Бутенко его "панораму", смысл которой был так ему понятен и дорог.

Бутенко, так и не кончив своей речи, опять сел в кресло и замолчал, по-прежнему нервно перебирая дрожащими пальцами часовую цепочку.

А Дема в изумлении продолжал смотреть на Бутенко, решительно не зная, почему он так испугался. "Стало быть… стало быть, это – не он!" – мелькнуло в голове Демы.

Дема еще несколько раз взглянул искоса на Бутенко – и ему как будто стало даже жалко его.

– Пока прощения просим… И извините, – тихо проговорил Дема и, едва ступая на носках и кланяясь, выбрался из квартиры Бутенко.

"Стало быть… это не он!" – решил окончательно Дема.

Дема шел домой уже далеко не так важно и торжественно, как прежде.

Войдя в свою камору, он прежде всего встретил сердито-пытливый взгляд возбужденного Липатыча.

– Где был? – сурово спросил Липатыч.

– В церковь сходил, – отвечал Дема, снимая осторожно свои парадные одеяния.

– А еще где?

– А еще… к нему заходил.

– Так я и знал! – раздраженно проворчал Липатыч. – Ну и что ж ты ему говорил?

– Все говорил… То и говорил, что вы мне в поле говорили. Вот все это и говорил… А больше ничего не говорил… Мое дело сторона. Я ежели и говорил про себя – так одно, что надо быть справедливым, особливо старым людям… Вот это говорил.

– Ну и что ж он? – промычал Липатыч, скрывая за сиплым басом охватившее его волнение.

– Что ж он!.. Стало быть… стало быть – это не о н, Вавила Липатыч… Так думать надо – ошибка вышла.

– Не он, говоришь? – быстро спросил Липатыч с загоревшимися глазами.

– Нет, не он, – решительно ответил Дема. – Потому, ежели бы он…

– Молчи… не смей!.. Не говори ничего мне больше! – вдруг перебил его, сверкая возбужденными глазами, Липатыч и, схватив свой блин, быстро вышел из каморы.

\* \* \*

Где пропадал Липатыч этот день – так и осталось тайной для Демы, хотя он вечером и обошел все заводские трактиры и портерные. Липатыч даже и не ночевал дома. А дня через два в трактире происходила такая сцена.

Липатыч, с котомкой за плечами, стоял среди толпы рабочих, окружившей его. Рядом с ним стоял немец и испуганно улыбался.

– Ну, братцы, прощайте! – говорил Липатыч, нервно потряхивая своей львиной гривой. – Не поминайте лихом! Куда ни шло – погуляю в последний разок по матушке-Рассее!.. Мне уж один конец, а только мы ее, эту правду-матку, выищем, мы ее со дна моря найдем. Нам не придется с нею жить – вам пригодится… А мы ее с немцем вам предоставим… Это, брат, шалишь: добро даром в миру не пропадает!..

– Куда будем ходить, господин механикер? – грустно и боязливо говорил немец, дрожащими пальцами перебирая по цилиндру.

– Со мной не бойся! Хуже нам с тобой не будет, – утешал его Липатыч, – а что лучше найдем – все наше будет!.. Аида, немец!.. Прощайте, братцы!.. Главное – живите дружнее… вот как мы с' Демой жили! Кабы еще не это, – так…

И Липатыч отчаянно махнул рукой.

– Ну, а за озорство мое не обессудьте… Что делать!.. Такими, значит, нас мать-Рассея зародила да такими вот ив гроб кладет!.. Аида, немец!..

Когда в ответ ему разнесся по трактиру сочувственный гул голосов, Липатыч степенно раскланялся на обе стороны и надел свой блин.

– Прощайте, братцы! А это мы с немцем все расследуем, как и что…

Липатыч вышел своей обычной гордой походкой, гоголем; за ним поплелась жалкая фигура немца в не менее жалком цилиндре и пальмерстоне, совершенно не понимая, какая сила увлекала ее за Липатычем.

Рабочие несколько минут молчали; грустно им было расставаться с Липатычем: жалко им было его и знали они, что не далеко уйти старику за своей заветной "мечтой", что уже ждет его, не нынче-завтра, одинокая могила, но все же им было отрадно думать, что среди них жил Липатыч и что это был свой человек для них.

**Примечания**

**1**

Впервые – в журнале "Русское богатство". 1893. No 4.

Неоднократно выходил отдельной книгой, в сборниках рассказов Н. Н. Златовратского. Включен в собрания сочинений Н. Н. Златовратского 1897 г. и 1912-1913 гг.

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912. т.

**2**

*Портерная –* торговое заведение, где продают и пьют портер, английское темное пиво.

**3**

*…на съезжей-то не пори!..* – съезжая – место, где производилась полицейская

[www.profilib.com](http://www.profilib.com)